

СИБИРИАДА

ГРИГОРИЙ  
ФЕДОСЕЕВ



Тропою  
ИСПЫТАНИЙ

Сибиряда

Григорий Федосеев  
**Тропою испытаний**

«ВЕЧЕ»

1977

## **Федосеев Г. А.**

Тропою испытаний / Г. А. Федосеев — «ВЕЧЕ»,  
1977 — (Сибириада)

Григорий Анисимович Федосеев (1899—1968), прежде чем стать профессиональным писателем, около тридцати лет проработал инженером-геодезистом. «Тропою испытаний» – книга-энциклопедия для романтиков, для влюбленных в свое дело людей. В этот раз путь отважных исследователей лежит к суровым берегам Охотского моря через «черную тайгу» Забайкалья и Якутии, но сила воли, выдержка и помощь старого проводника Улукиткана помогут им преодолеть все тяготы и опасности нелегкого путешествия.

© Федосеев Г. А., 1977

© ВЕЧЕ, 1977

# Содержание

Часть первая	5
I	5
II	20
III	44
Часть вторая	61
I	61
Конец ознакомительного фрагмента.	66

# Григорий Федосеев

## Тропою испытаний

### Часть первая

#### I

Поезд, монотонно постукивая колесами, уходит все дальше и дальше на восток. Мелькают сибирские села, заснеженные полотна пашен и лугов, березовые рощи. То вдруг из-за глубоких оврагов выползет бугристая степь, исписанная стежками заячьих и козьих следов, то подступит к дороге могучая тайга, убранная гирляндами пушистого снега, и паровоз, разбрасывая клочья дыма, с веселым посвистом пронесется, перекликаясь с голосистым эхом.

В окно купе, разрисованное узорами февральского мороза, заглядывает тощий месяц. Все мои спутники, утомленные сборами последних дней, спят. А я продолжаю бодрствовать. Мысли блуждают где-то далеко. Воображению рисуются неприступные вершины, возвышающиеся над глубокими цирками<sup>1</sup>, бурные реки, проложившие себе путь по дну мрачных ущелий, дремучая тайга, бесконечные походы, ночевки у костра...

Достаю тетрадь, втиснутую в брезентовую корочку и предназначенную для дневниковых записей. На чистые страницы не легла еще ни одна строка, на них не сделано ни одного рисунка. Я и сам еще не могу предугадать, какими событиями заполнятся листы дневника. Открываю тетрадь и посередине страницы пишу:

«Сбылась мечта, мы едем к берегам Охотского моря. 2 февраля 1949 года».

Обширный край, прилегающий к Охотскому морю и пересеченный громадами хребтов Джугджура и Джугдыра, а также восточной оконечностью Станового, давно привлекал внимание исследователей. Туда редко заглядывал пытливым глаз разведчика недр. Отдаленные времена не оставили там после себя ни насыпных курганов, ни других памятников древней или более поздней культуры. Людские потоки обходили стороною это неведомое, дикое пространство, оно никогда не было ареной человеческой деятельности. Но тем сильнее было наше желание проникнуть туда. Ведь центральная часть этого края и в топографическом отношении является почти «белым пятном». Имеющиеся карты весьма бедны подробностями, не отображают действительной картины местности и содержат следы явной незаконченности.

Весть о переезде экспедиции застала нас в Тувинской области, где мы вели геодезические работы. Новое задание обрадовало всех, в ком жила неутомимая натура путешественника.

И вот мы на Дальнем Востоке. Штаб экспедиции расположился в старинном городе Зее. В конце XIX века этот город прославился золотой горячкой. Он был расположен на пути из богатых приисков в жилуху<sup>2</sup>. Тогда золото добывали первобытным способом, ценою огромных усилий, а зачастую и жизни. Если старатель не умирал от голода или цинги и ему случалось намыть золотой песок – это было только началом его несчастий. По пути к населенным пунктам его не щадили глухая тайга и бурные реки, а на тропах подстерегали бродяги. Не каждому смельчаку удавалось добраться до города. Здесь старателя встречали на тройках с бубенцами, купали в спирте, выстилали перед ним улицу кумачовыми дорожками. Вокруг вились женщины, авантюристы. Устраивались оргии. Когда же золото переходило в толстую мошну

---

<sup>1</sup> Цирк – горная котловина, замкнутая с трех сторон скалами.

<sup>2</sup> Жилухой таежники называют обжитые территории страны.

купцов, кабатчиков, содержателей притонов, – старателя, еще не отрезвевшего после буйного разгула, нередко убивали, вывозили за город и сбрасывали на свалку.

Время стерло с города следы позорного прошлого. Он посвежел, вырос и живет, как вся страна, созидательной, трудовой жизнью.

В начале февраля экспедиция была почти в полном сборе. В состав ее входили геодезисты, топографы, астрономы, аэросъемщики и географы. Они должны были создать карту огромной территории, прилегающей к Охотскому морю. Отрядам предстояло осуществить геодезические работы, сделать аэросъемку всего района, определить высоты хребтов, возвышенностей и равнин, распутать истоки рек, проследить тропы, уточнить растительный покров, дать характеристику почвам и собрать разные сведения об этом крае.

Мы понимали, что выполнение этой задачи потребует от участников экспедиции напряжения всех сил.

У нас есть мощные самолеты, новейшие высокоточные инструменты и приборы, хорошее снаряжение, но все это не избавит от неожиданных опасностей при столкновении с дикой природой. В этом крае большинство из нас новички. Мы не знаем его климатических особенностей, не знаем, где лежат проходы через хребты и броды через реки; не представляем себе границ тайги, расположения болот и марей. Мы знаем по опыту, что действительность внесет изменения в наши предположения и расчеты, поставит нас перед многими неожиданностями. Кое-что придется решать на месте, в зависимости от обстановки, и рассчитывать только на свои силы. Дикая природа всегда пытается убедить человека в его беспомощности, но она бессильна противостоять человеческому разуму, смелости и упорству.

В штабе экспедиции день и ночь кипит работа, упаковываются продукты, снаряжение, подбирается спецодежда. Стук молотков, звон посуды, несмолкаемый людской говор сливаются в нестройный гул. Царящая на дворе суета, кажется, может растормошить самого большого лентяя, возбудить зависть у бывалого путешественника.

У входа в склад толчется группа парней. Сквозь смех слышится чей-то бас:

– Ты что гутаришь, не выпускают таких номеров? Брюки же нашел на мой рост, значит, есть и сапоги. Ищи давай!

– Зря ты, Саша, ко мне пристаешь. Иди с жалобой к начальнику, он рассудит. Да и сам уразумей: сорок пятый размер не лезет на твою ножку, – язвит кладовщик и тут же добавляет: – Говорю, бери резиновые, они растянутся.

У ворот – Петя Дунин. Юноша кончил техникум и впервые едет в тайгу. Он мечтает стать путешественником, прославиться охотой и уже истратил свой первый аванс на покупку ружья. В воображении своем он, вероятно, пережил уже не одну схватку с медведем.

Петя подпирает плечом столб, мнет в руках варежку и украдкой посматривает на стоящую рядом девушку со светлыми глазами, с длинными косами, перекинутыми на грудь, одетую в легкое темно-коричневое пальто. Она старается держать себя с Петей независимо, даже равнодушно, зная, что за ней следит много любопытных глаз. Они оба молчат, а ведь через час Петя должен уехать далеко и надолго. Наконец он незаметно ловит ее руку и прячет за спину. Лицо девушки стыдливо румянится, она смотрит на юношу преданными глазами и нехотя вырывается. К ним подходят две ее подружки, и светлоглазая, посмелев, бочком льнет к Пете, да так и остаются они стоять, словно две сросшиеся березки.

Вдруг слева, где толпились топографы, коротко пропела гармонь. Все насторожились, двинулись на звук. Гармонист, кудрявый парень, присев на ящик, пустил на нижних рядах плясовую. Все раздвинулись, кто-то вырвался в круг, пошел вприсядку, отбивая ногами частую дробь и в такт шлепая ладонями по голенищам. А гармонь заливается, зовет. Подошли девушки, и в кругу мелькнула голубая косынка. Плясун, встряхнув ухарски головой, ударил каблуками в мерзлую землю и как бы замер в мелком переборе чечетки.

В маленькой комнате главного инженера Николая Иосифовича Хетагурова душно, хотя никто не курит. Зажатый посетителями в дальний угол, Николай Иосифович целый день не покидает своего места. Стол завален схемами, проектами, фоторепродукциями. Идет распределение участков, о которых никто из присутствующих еще не имеет сколько-нибудь ясного представления.

Тут же прорабы знакомятся с техническими предписаниями, договариваются о встречах в тайге.

– Возьмите от меня реку Маю. Никто же не знает, можно ли попасть туда с Алданского нагорья. А если через Становой не пройти? – убеждает Хетагурова начальник партии Владимир Афанасьевич Сипотенко.

Главный инженер поднимает взгляд от карты, лежащей перед ним, устало смотрит на Сипотенко.

– Удивляюсь, Владимир Афанасьевич! С каких это пор геодезисты стали ставить непременным условием, чтобы у них в районе работ были проторенные тропы?

Так день за днем проходило время подготовки полевых подразделений в далекий путь.

За широкой Зеей багровела тайга, опаленная стужей. С юга уже прорывались немые признаки тепла, но ветер еще перебивал поземкой сухой бродячий снег, и по ночам с неба падал иглистый иней. Подразделения будут заброшены в районы на самолетах. Но прежде нужно подыскать посадочные площадки. Десятого февраля мы и отправились в рекогносцировочный полет. Со мною на борту самолета главный инженер Хетагуров, начальники партий Сипотенко, Нагорных, Лемеш и два прораба – Пугачев и Лебедев. Попутно нам хотелось взглянуть с высоты на тайгу, хребты, на границу суши и моря, на острова, чтобы составить общее представление о территории, где предстояло работать.

Самолет стремительно несся вперед, но нам казалось, будто мы застыли неподвижно в воздухе, а земля лениво проплывает мимо. Под нами лежала Зейская низина, оттененная по холмам яркой зеленью хвойных лесов.

Крылатая тень самолета то скользила по лиственничной тайге, то ныряла в овраг, то отступая, путалась в глубоких кривунах Зеи. А вдаль, у края голубого неба, легким облаком маячили заснеженные горы. Они как бы надвигались на нас, росли, ширились, становились все более величественными. Это был восточный край Станового хребта.

– Трофим Васильевич, начинается ваша вотчина! – крикнул Хетагуров Пугачеву. – Посмотрите-ка, что за причуды, какая красота!

– Смотрю и дивлюсь. Тут, кажется, сам черт ногу сломит, – ответил тот, не отрываясь от бокового окошка.

– Есть где разгуляться молодцу, – пошутил Лебедев.

С высоты трех с половиной тысяч метров был хорошо виден Становой. Слева, справа и впереди лежали угрюмые цепи гор, уходившие в необозримое пространство. Хребет разворачивался перед нами грандиозной панорамой.

Машина набирала высоту. Но надвигавшиеся горы все еще заслоняли дальний горизонт. Становой хребет там, где он кончается, достигает наибольшей высоты и имеет совершенно дикие очертания. Нас встречали остроглавые вершины, то появляющиеся, то исчезающие за крылом самолета. Всюду виднелись пропасти, нагромождения скал, отвесные стены, окружавшие цирки.

– Тропа!.. – закричал кто-то, припадая к окну.

Внизу показалась узкая полоска взбитого снега – это действительно тропа. Она шла по каменистому гребню наверх, вилась по крутым откосам и терялась среди отвесных скал. Затем снова появлялась на вершине остроглавого утеса. Мы были озадачены. Кто проложил ее среди каменных громад?

Самолет плыл низко над хребтом, отчего гул моторов становился сильнее. Вдруг на снежной полоске, окаймляющей сверху обрыв, появилось вспугнутое стадо крупных зверей светло-желтой масти. Животные бросились к откосу, но почему-то круто повернули обратно и, рассыпавшись, исчезли среди скал. Я успел лишь заметить, что все они были с толстыми рогами. Это, вероятно, снежные бараны, они и проторили тропы по горам.

Становой хребет оборвался так неожиданно, что мы не успели рассмотреть его северные склоны. Самолет стал разворачиваться, изменяя направление. Из-под правого крыла показалась всхолмленная равнина – Алданское нагорье. Оно простиралось далеко на север и терялось где-то в мягкой дымке солнечного утра.

Летели долго, кружились над большими озерами и широкими руслами заледеневших рек. Скучно смотреть с высоты на однообразную снежную равнину, то залесенную, то покрытую большими пятнами марей. Ни струйки дыма, ни дорог, ни следов человека. Даже Становой, видневшийся над горизонтом, не освежал пейзажа.

Через час показалось широкое русло Учюра, сдвоенное с боков черной тайгой. Машина забирает вправо и идет к стыку трех хребтов: Джугджура, Джугдыра и Станового.

Воздух прозрачен, даль становится доступна глазу. Мы видим, как на широкую заснеженную марь выскакивают два лося. Они не могут понять, откуда шум, бегут навстречу самолету, затем бросаются в разные стороны и исчезают в перелесках.

Машина все ближе подбирается к грозным нагромождениям, заполняющим впереди широкий горизонт. Становой возвышается от нас справа. Продолжая его, тянется дальше, к Охотскому морю, широкая лента Джугджура.

Пролетая приблизительно над границей хребтов, мы увидели истоки реки Май или Половинной.

К югу от Станового – Джугдырский хребет. Глядишь на его вершины сверху, и кажется, что лежат груды камней, давно приготовленных для какой-то грандиозной стройки. Да и стройка уже началась, но произошло землетрясение. Часть территории осела и заросла лесом, другая же, наоборот, поднялась высоко вместе со стенами начатых сооружений, развалинами башен, глубокими выемками, заваленными обломками.

А вот и река Мая. Глубокой щелью она прорезала горы. Высокие гольцы склонили над ней свои вершины. Каким-то чудом над ущельем удерживаются каменные громады скал. Кажется, дотронься до них, и всей тяжестью своей сорвутся они в бездну.

Тесно Мае в крутых берегах. В бешеной злобе силится она раздвинуть выступы скал, разметать стремительным потоком каменные перекаты, срезать кривуны. Но пока что река не разработала себе сколько-нибудь спокойного русла. Почти треть своего пути Мая течет в тисках высоких гор.

Нас это открытие встревожило. Хаотичные нагромождения гор вблизи реки вряд ли позволят нашим подразделениям беспрепятственно передвигаться в этом районе. А миновать его мы не можем и, значит, будем вынуждены столкнуться с препятствиями, преграждающими проходы к этой своенравной реке и ее многочисленным притокам.

Самолет, миновав Джугдыр, повернул на восток к заливу, к Удской губе, где мы должны приземлиться, чтобы заправить машину. Летим над широкой долиной. Местность резко изменилась. Под нами лежали волнистые мари, рассеченные многочисленными речушками и обмежеванные чахлыми перелесками. Летом здесь путешественника поджидают гнус, топи и непроходимые болота. Все однообразно и, как в пустыне, почти нет ориентиров.

На ледяном «аэродроме» нас встретил заместитель начальника экспедиции Рафаил Маркович Плоткин, прибывший сюда несколько дней назад для организации оленьего транспорта и заброски продовольствия в глубину приохотской тайги. О нашем прибытии ему сообщили из штаба.



– Пошли, пошли, – торопил он нас, – ко мне в палатку, угощу строганиной – пальчики оближете!

Возле палатки стоял готовый в путь олений обоз в пятьдесят нарт, нагруженных мукой, ящиками, тюками. Груз пойдет в горы, в местоположение базы нашей топографической партии.

Рафаил Маркович отдал каюрам последние распоряжения, те закурили, вполголоса поговорили между собой, и обоз цепочкой двинулся на запад.

С моря тянула холодная поземка. Ветер, роясь в снежных сугробах, срывал искристую пыль, уносил куда-то в глубь материка. На берег со скрежетом выпирал лед, сдавленный разгравшимся морем. Огромные льдины вздымались, глухо падали, потрясая землю.

Морской холодный ветер звонко трепал борта палатки, но внутри было тепло. Тут нас действительно поджидали: на свежей еловой хвое, устилавшей пол, стояли сковородка жареной наваги и огромная эмалированная чашка кетовой икры, пересыпанной завитушками тонко нарезанного лука. На раскаленной печке доваривалось мясо, распространяя аппетитный запах какой-то острой приправы. Мы стали размещаться.

– Посмотрите, на что способно Охотское море, – похвалился Плоткин, показывая крупную кету величиной с хорошую семгу. – Редкий экземпляр, к тому же свежий.

– Кирилл Родионович имеет возможность блеснуть своим талантом, – сказал Хетагуров, усаживаясь на пол и по-кавказски подбирая под себя ноги.

– Это вы насчет строганины? Можно. Но оговариваюсь: если не получится – не обижайтесь. Я ведь знать не знаю, с головы стружат рыбу или с хвоста. – Кирилл Родионович Лебедев, лукаво улыбаясь, достал из-за пояса увесистый нож уродливой формы и добавил: – Не пугайтесь, нож собственной конструкции.

Он ловко отрубил у кеты голову, хвост, содрал со спины кожу, и в чашку полетели тонкие, словно хрустальные, стружки розовой мякоти. Они на лету свертывались в трубки. Их обрызгивали уксусом и посыпали черным перцем.

– Настоящая строганина должна быть с хрустом, что хворост. Мы ее сейчас выставим на мороз, пусть крепнет... – Лебедев, приподняв борт палатки, высунул чашку со стружками на холод.

– Опять ждать? Я больше не согласен. Да и к чему такая жертва? Начинаем с наваги! – послышался из дальнего угла голос начальника партии Нагорных.

– Правильно! – поддержал его Хетагуров. – Ну-ка, наберите мне в ложку икры. Смелость города берет...

– Товарищи! – взмолился Кирилл Родионович. – Минуту терпения, сейчас стружки поспеют!

И как бы в доказательство за палаткой что-то аппетитно хрустнуло.

– Слышите, лопаются, значит, правда спеют... – торжествовал «повар».

Хруст повторился еще и еще, затем кто-то подозрительно чавкнул, зарычал. Хетагуров приподнял борт палатки. О, ужас! Две лохматые собаки в жестокой схватке оспаривали свое право на строганину в чашке.

– Ишь вы, проклятые! – взревел не своим голосом Кирилл Родионович, выскакивая наружу.

Собаки огрызнулись на него и рысцой потрусили в поселок.

– После такого экзотического блюда, как строганина с хрустом, давайте перейдем к чему-нибудь более обыденному. Это надежнее. Предлагаю начинать с мяса, – сказал Пугачев.

За палаткой еще долго чертыхался Кирилл Родионович. Плоткин с грустью смотрел на обрезанный скелет кеты.

Пока завтракали, машину заправили, и вскоре мы снова в воздухе. Летим на восток. Под нами море. Огромные сжатые ветром поля льдов застыли, упираясь в берег. За ними в лучах солнца блестит вода. И где-то уже совсем недалеко видны расплывчатые силуэты островов.

Вот они точно ожили, двинулись навстречу, обходя со всех сторон самолет. Машина забирает влево и идет над Феклистовым и Большим Шантарским островами. У восточных берегов их властвует шторм. Какая величественная картина – буря на море в солнечный день! От далекого горизонта и до крайних островов все кипит расплавленным серебром. Нельзя смотреть. Разыгравшиеся волны одна за другой разбиваются о выступы скал, дробятся о камни. Постоянная битва двух могучих сил: с одной стороны, упорство скал, с другой – ярость ненасытного моря. словно рать, оберегающая рубеж материка, многочисленные острова уперлись в море неровными крутыми берегами да рифами. Волны лижут их, захлестывают, отступают и снова бешено бросаются на штурм. Куда ни взглянешь, всюду следы разрушений – груды свалившихся камней.

На островах нам не удалось наметить подходящую площадку для посадки самолета, и мы повернули обратно.

Возвращаясь, летели над мелкими островами, расположенными близ материка. Они представляют собой остатки высоких гор, размытых морем, некогда вторгшимся на территорию суши. Среди них есть небольшие островки, сложенные из одних скал, без растительного покрова. Это излюбленные места морской птицы. На них, видимо, и располагаются птичьи базары. Граница суши обозначалась на большом расстоянии резкой чертой скал, местами высоко поднимающихся над заледеневшим морем.

В шесть часов вечера машина приземлилась.

Ночь провели в штабе. Теперь мы имели некоторое представление о территории предстоящих работ и могли более правильно распределить силы. Пришлось изменить намеченный ранее план, произвести перегруппировку в партиях, усилить более стойкими людьми подразделения, отправляющиеся на Становой и Джугдырский хребты. В район со сложным лабиринтом озер, марями, затажными болотами и предательскими зыбунами был назначен топограф Виктор Харьков, один из опытных наших техников. Работы на реке Мае решено было не развешивать до подробного обследования проходов по ней.

Часть подразделений уже была готова к выходу. Но переброска их задерживалась, пока площадки, намеченные нами при вчерашнем полете, не будут подготовлены к приему тяжелых машин. Эту работу выполняют маленькие самолеты, уже вылетевшие к месту будущих «аэродромов».

Одиннадцатого февраля на железнодорожную станцию Тыгда прибыл наш груз из Тувы. Его сопровождал Василий Николаевич Мищенко, один из старейших работников экспедиции. С ним прибыли и наши собаки, Бойка и Кучум. Встречать Мищенко со мною поехал Пугачев.

Когда мы вышли на перрон, у семафора уже появился поезд. Гроыхая колесами, паровоз прополз мимо толпы встречающих и остановился за багажной будкой. В тамбуре второго вагона стояли собаки. «Узнают ли они меня?» – мелькнуло в голове. Бойку и Кучума я не видел восемь месяцев.

Я задержался на перроне. Пока выгружали из вагона ящики, тюки, собак привязали к частоколу. Обе они – черные, похожие друг на друга, с белыми мохнатыми бровями, светлыми грудками и крапчато-серыми чулками на ногах; согнутые крючком хвосты одинаково лежали на полношерстных спинах. Только Кучум был рослее Бойки. Его длинное, гибкое тело держалось на сильных ногах; морда нахальная, с хитрым прищуром глаз. В схватках с собаками ему достаточно было показать свои острые клыки, как у тех мигмом поднималась на загривках шерсть, и они заискивающе начинали обнюхивать Кучума, проявляя при этом и уважение и любопытство. Он отличался особой привязанностью к людям. Бойка же была более замкнутой, всегда озабоченной, покорной. В лагере ее не заметно, но возле зверя – не узнать! Работает она напористо, четко, откуда только ловкость берется! В этот момент все собаки подчиняются ей. Но как только минует опасность, она снова уходит в себя, становится тихой, ласковой и незаметной.

Возле собак, словно из-под земли, появилась шумная ватага мальчишек. Они показывали на Бойку и Кучума, боязливо приседали возле них, заглядывая в глаза, жестикулировали и о чем-то азартно спорили.

Через частокол к ним перелез еще один парнишка, несколько постарше, лет одиннадцати, с коньками под мышкой. Увидев его, мальчики притихли, а тот с достоинством судьи осмотрел Кучума и Бойку, а затем, порывшись в кармане полушубка, достал что-то съедобное и бросил собакам. Что он сказал товарищам, я не слышал, но те замахали руками, зашумели, как вспугнутая стая воробьев, и стали все разом что-то доказывать ему.

Я стоял поодаль, не зная, как напомнить о себе собакам. Но вот по перрону пролетел легкий, едва уловимый ветерок. Собаки встревожились, мгновенно повернули морды в мою сторону и настороженно замерли. Ветерок навевал на них запах мазута, дыма, сосновых досок, краски, сухой травы и сотен людей, находившихся возле поезда.

Что же встревожило Бойку и Кучума?

Несомненно, они обнаружили мое присутствие. Каким чутьем надо обладать, чтобы среди стольких разнообразных запахов уловить один, да еще после такой длительной разлуки!

Я не выдержал и медленно зашагал к ним. Бойка и Кучум всполошились. Они тянулись к каждому прохожему, обнюхивали, виляли хвостами. Наконец, увидев меня, подняли визг и лай.

Я обнимал их, что-то говорил, они лизали мне руки, прыгали, лаяли. Только люди, которых собаки не раз выручали из беды, могут до конца понять, как дорога была мне эта встреча с четвероногими друзьями.

Затем я подошел к Василию Николаевичу, которого тоже не видел давно. Это была первая длительная разлука за годы совместных скитаний по тайге. Мы обнялись, долго трясли друг друга.

Мальчишки отступили от собак, прижались к решетке и недоуменно смотрели на меня.

– Дядя, а дядя, это ваши собаки? – вдруг спросил самый бойкий и, пожалуй, самый маленький из них, сдвигая на затылок ушанку и поправляя висевшую на ремне чернильницу.

Известно, что от ребят не так просто отделаться, если возник у них важный вопрос.

– Алешка спорит, что эти собаки – овчарки, а мы говорим: у тех уши длинные, а эти – ездовые. Правда?..

– Чего ты мелешь – «ездовые, ездовые»! – перебил его мальчик с коньками. – Посмотрите, у них над глазами белые брови. Говорю – овчарки! Только не немецкие, а те, что овец караулят. Я видел на картине.

– У тех овчарок и морда на тебя, Алеха, похожа! Только под носом у них суше, – заметил кто-то, и все рассмеялись.

– Не спорьте, это обыкновенные сибирские лайки, – сказал я, желая помирить ребят.

– Я же говорил – охотничьи! – опять вмешался в разговор самый маленький. – У тяти была такая собака, Валетка. Она хорошо утят ловила. А ваши, дядя, на кого охотятся?

– Они утят не ловят и вообще птиц не трогают, их дело – медведи, сохатые. Случается, что мы их и запрягаем.

– А куда вы их везете? – спросил Алешка.

– В экспедицию.

– А-а-а... – вдруг пропели все в один голос.

Это слово совершенно неожиданно произвело на мальчишек магическое действие. Очевидно, экспедиция, по их мнению, – это непрерывная охота на диких зверей, ночевки у костра, необыкновенные приключения, где можно проявить героизм или найти неслыханные сокровища. Ребята переглянулись и с любопытством принялись рассматривать нас, забыв о споре.

Когда мы начали перетаскивать багаж с перрона к машине, опять подошел тот же малыш, что первый спросил о собаках, и умоляюще посмотрел мне в лицо.

– Дяденька, дайте я до машины доведу одну собаку, – сказал он почти шепотом и пугливо взглянул на ребят.

– Как тебя зовут?

– Андреем.

– Какая же из собак тебе больше нравится?

– Этот, лохматый, – и он кивнул головой на Кучума.

– Ладно, бери, только не упусти.

– Нет, вы дайте сами, а то отнимут.

Не успел я передать ему Кучума, как возле Бойки завязалась чуть ли не драка. Человек пять, толкая друг друга, хватались за поводок, кричали. Кто-то сильно толкнул веснушчатого парнишку, тот упал на решетку, но поводок из рук не выпустил. Послышались угрозы, однако уступить собаку никто не хотел. Бойка же, не понимая, что случилось, рвалась к выходу. Пришлось вмешаться.

Ребята помогли нам грузить вещи. Когда мы уже были готовы тронуться в путь, меня кто-то потянул за рукав. Я оглянулся. Опять Андрей. Он прижался ко мне, прячась от остальных.

– Дядя, а со скольких лет берете в экспедицию? – спросил он и покраснел.

– Тебе еще рано об этом думать.

– Ну и что ж, что рано? У меня есть старший братишка, может, он поедет. Это все равно...

– Ребята, Андрюшка в экспедицию записывается, собак будет на медведя травить! – закричал Алешка, подслушавший наш разговор.

– Слабо, мать одежду не даст! – крикнул кто-то из толпы.

– А я и так уеду, – ответил Андрей и опять шепнул мне: – Дядя, довезите до поворота!..

На глазах у всех ребят я помог ему влезть в кузов.

– Прощайте! – пропищал тоненьким голоском Андрей. – А ты, Алешка, бери одежду и приезжай ко мне в экспедицию.

Машина тронулась. Мальчишки так и остались стоять на привокзальной площадке, ошеломленные отъездом Андрея; никто из них не вымолвил ни слова, хотя у всех от удивления раскрылись рты.

За поворотом наш герой выскочил из машины, побежал к перекрестку и стал выглядывать из-за угла, радуясь, что ему удалось так ловко подшутить над товарищами.

Со мною в кабине сидел Кучум. Я не мог налюбоваться им. За восемь месяцев разлуки он здорово вырос, оделся в лохматую шубу. Ему всего два года. Он еще не был по-настоящему в схватках с медведем, не участвовал в драках с собаками. У него все впереди. Но в его собачьей фигуре, походке, даже во взгляде уже сейчас видна была взрослая зверовая лайка.

Пока машина пересекала стокилометровое лесное пространство между станцией Тыгда и рекой Зея, я вспоминал необычную историю рождения Кучума.

Летом 1947 года наша экспедиция работала в горах Большого Саяна, в северо-восточной части Тувинской автономной области. Мы составляли карту этого малоисследованного района. Нам пришлось посетить места, куда редко заходил человек, где среди первобытной природы живут никем не пуганные звери.

Караван шел медленно, проделывая замысловатые петли среди горных нагромождений. Мы то карабкались по россыпям, взбираясь на хребты, то пересекали альпийские луга или бесшумно шагали по молчаливому кедровому лесу, устланному зеленым мхом. Пожалуй, нигде нет таких больших, бесконечных кедровых лесов, как именно там, на юге Сибири. Погружаясь в эту молчаливую лесную чашу, мы невольно испытывали чувство подавленности при виде могучих великанов, сомкнувших над нами свои жесткие кроны.

Мы двигались по реке Систиг-Хем, надолго задерживаясь в местах сложного рельефа, требовавшего подробного геодезического обследования. Вместе с нами шла Бойка. Она гото-

вилась стать матерью, и мы не знали, что будем делать со щенками: возить их с собою не могли, выбросить – было жаль Бойку: она отличалась необычайной привязанностью к своим детям.

И вот однажды утром, когда, свернув лагерь, должны были двинуться дальше, мы не обнаружили Бойки.

– Куда она делась? Хотел покормить – не нашел. Не иначе щениться ушла, – беспокоился наш проводник Василий Николаевич, больше всех любивший эту собаку.

Мы кричали, обыскали лес возле лагеря, стреляли, и все напрасно – собака не появлялась.

– Проголодается – придет, никуда не денется. Напрасно ты так уж беспокоишься, – уговаривал я не на шутку расстроенного Василия Николаевича.

– Нет, не придет, зря так думаете. Бойка прячет щенят от нас, она понимает, что мы их оставим... Искать надо, иначе потеряем собаку, – говорил он, все поглядывая на лес: не появится ли оттуда Бойка?

– Нашли о чем горевать – о собаке! Да зверь ее задерит! – сердито сказал конюх Прохор, нервно посапывая трубкой.

– Нет у тебя, дедка, и капельки жалости! Что плохого сделала Бойка? – с укором спросил его Василий Николаевич.

– Собака, так она собака и есть, непутевая тварь. Ехать надо, а ей, вишь, приспичило! – ворчал Прохор, как скрипучая лесина в непогоду.

Дед Прохор конюшил у нас первый год. Он был на загляденье дородный старик, лет шестидесяти пяти. В облике этого человека было что-то первобытное. Матушка тайга вскормила его тяжелым трудом – в погоне за соболем, на валке леса, на сплаве по порожистым рекам, – и к старости он сам стал похож на огромный сутулый пень. И как ни странно, этот человек, проживший свой век в тайге, не любил собак. Кости обглоданной не бросит им, так и норовит дать пинка. Недолюбливали его и собаки. На что у Бойки ласковый характер – она, бывало, и близко к нему не подойдет, все косится, как на чужого.

Так мы в тот день и не уехали – решили обшарить всю местность по обе стороны Систиг-Хема.

Тайга, окружавшая лагерь, была захламлена валежником, обросла папоротником, дикой смородиной. Что ни дерево – то убежище: тут и чаща, и бурелом. Разве можно найти в таком лесу намеренно спрятавшуюся собаку? Мы искали весь день. Бойка, безусловно, слышала наши голоса и шаги, но ничем не выдавала себя.

Что же делать? Задерживаться дальше нельзя – стоит хорошая для работы солнечная погода, – но и бросить собаку в таком положении жестоко. После долгих размышлений все же решили ехать. А Василий Николаевич остался.

– Без пищи Бойка проживет несколько дней, она ведь собака, а вот без воды не может, тем более со щенками. Непременно выскочит к реке. Я ее тут и подкараулю. Или увижу след... – рассуждал Василий Николаевич.

Утром рано мы покинули стоянку.

Мы должны были организовать свой лагерь километров на двадцать ниже устья Чапши, на берегу Систиг-Хема, в углу небольшой поляны, возвышающейся над руслом реки. Здесь нам необходимо было задержаться на несколько дней, чтобы обследовать ближайшие вершины гор. Погода как нельзя лучше благоприятствовала работе, и мы на второй день утром, не дождав-шись Василия Николаевича, ушли на хребет.

Нас не покидали мысли о Бойке. Втайне мы считали собаку потерянной: она не бросит щенят, да и не найти ей нас в этой горной тайге, где нет ни конца ни края! Еще можно допустить, что Бойка вернется по своему следу на Казыр к рыбакам, но при мысли, что с ней щенки, и эта надежда пропадала.

Случай был необычный, вызвавший у нас много споров и размышлений. Мы считаем собаку, как и других животных, неразумным существом и многое в ее поведении относим за

счет врожденного инстинкта, то есть бессознательного действия. Однако кому, скажем, не приходилось удивляться смысленности собак в момент поиска зверя, в схватке с медведем, при распутывании ими следов! И тогда невольно хочется верить, что собакой руководят не только инстинкт или рефлекс, – вероятно, в природе животных есть что-то еще, не разгаданное человеком.

Вернувшись через три дня в свой лагерь, мы не нашли там Бойки. Нас встретил Василий Николаевич. Достаточно было взглянуть на его лицо, чтобы угадать, чем кончились поиски собаки.

– Как вы уехали, Бойка действительно вышла к реке на водопой, – рассказывал он. – И нужно же было мне окликнуть ее! Даже не взглянув, исчезла. Одичала, что ли? Я ведь еще на день задержался там, весь кедровник обшарил – как провалилась! И откуда это несчастье взялось?

– Не печалься, Василий. Придется другую собаку заводить, – успокаивал я его.

– Да вы что? Неужто бросим ее, да еще со щенками, на голодную смерть? Ведь она же мать! Надо задержаться. Бойка в долгу не останется. Ей-богу, не останется!

Он окинул всех нас беспокойным взглядом и, не получив ответа, прошептал тихо, как бы сам себе:

– Ну что ж, не хотите дожидаться, я останусь один...

Через два дня мы закончили работу на Систиг-Хеме и собирались уйти боковым ущельем на запад, к реке Ут. Теперь уже никто не надеялся, что Бойка придет к нам. Но Василий Николаевич твердо решил идти искать ее и догнать нас на реке Ут.

Помню как сейчас последний вечер в лагере. Догорали костры. Шумел ворчливый Систиг-Хем. Люди уже спали. Я вышел из палатки, чтобы перед сном взглянуть на небо: не грозит ли оно непогодой? На утро был назначен поход.

Молчаливо надвигалась ночь. Теплыми огнями переливалось небо. Засыпал огромный край, не преодолев истома жаркого дня. Различная ночная живность заполняла сумрак таинственным оживлением. А там, где только что погас румянец зари, народилось темное облако. Оно росло, расползалось, затягивая небо. По лесу вдруг пробежал сдержанный шепоток, пугливо пронеслась неизвестная птица, бесшумно взмахивая в воздухе крыльями.

Вернувшись в палатку, я долго читал, не переставая прислушиваться к неясным звукам надвигающейся непогоды. А ветер нет-нет да и прорвется, хлестнет по вершинам притихших деревьев. Далеко сквозь тьму поблескивала молния, бросая на палатку мигающий свет.

Но вот из тайги дохнуло сыростью, перестали кормиться кони, все на минуту замерло. Одинокий комар пропел последний раз свою песню и упал на разгоревшееся пламя свечи. Я хотел подняться, чтобы застегнуть палатку, как вдруг темный свод неба над лагерем разорвался, и молния, разгребая мрак ночи, осветила грозные контуры туч. Гроза чесанула по краю скалы, ухнул, словно в испуге, лес, и холодные капли дождя забарабанили по брезенту. Разразился ливень. Удары грома потрясали горы. Ветер загасил свечу.

До слуха донесся странный звук, будто кто-то стряхнул с себя влагу. Затем я услышал, как в темноте раздвинулись борта палатки, и этот кто-то медленно приблизился ко мне. Я ощутил на себе теплое дыхание, и какой-то маленький комочек, холодный и липкий, упал мне на руку.

– Бойка, – шепнул я неуверенно.

По брезенту скользнула молния, на миг осветив собаку.

– Василий, Бойка пришла! Слышишь, Василий? – крикнул я, ища вокруг себя спички.

Удары грома глушили мой голос. Я зажег свечу, разбудил Василия Николаевича. Собака дрожала от холода и непрерывно встряхивалась, обдавая нас холодной водяной пылью.

– Мать пришла... На кого же ты, бедняжка, похожа!.. – протянул нараспев Василий Николаевич.

Он повернул к себе Бойку и долго смотрел в ее умные глаза, потускневшие от голода и, вероятно, от физических мучений. Не было в них и капельки радости, словно собака забежала на минутку к чужим спастись от дождя. Она была страшно худая и измученная. На ее впалых боках торчала ключьями старая шерсть. И даже хвост, прежде лежавший упругим крючком на крестце, теперь выпрямился и свалился набок обрубком, а спина, как бы отяжелев, осела.

Бойка вырывалась из рук Василия Николаевича и беспокойно косила глаза на мою постель. Я вспомнил о холодном комочке и стал шарить руками у изголовья.

– Василий, да ведь она и щенка принесла! Посмотри, живой! – сказал я, показывая ему крошечного заморыша, мокрого и дрожащего от холода.

У того вдруг сомкнулись брови, глаза скользнули по соскам собаки. Он повернул голову Бойки к себе и испытующе посмотрел ей в глаза.

– А куда же ты остальных девала? Что сделала с ними? – строго спросил он.

– Ладно, Василий, ничего она тебе не скажет. Вероятно, пропали от истощения. Скорее корми ее, да надо спасать щенка.

Из палаток прибежали люди. Все были удивлены. Они ласкали Бойку и с любопытством рассматривали щенка, подававшего слабые признаки жизни. Он изредка издавал глухой, еле уловимый хрип. Тогда Бойка настораживала уши и смотрела на черный беспомощный комочек, лежавший на постели. Сколько материнского чувства было в ее внимательном взгляде! Как много она могла бы рассказать о том, что оставалось для нас загадочным в ее поступках! По каким признакам отобрала этого черного, с белыми бровями, белой грудкой и в крапчатых носках на передних ножках?.. Куда действительно она девала остальных щенят?.. Одно мы знали наверняка: ее преданность людям заставила бросить остальных детенышей и искать нас.

Утром я проснулся рано. В палатке был полумрак. На войлочной подстилке крепко спали Бойка с сыном, раздувая бока спокойным дыханием. А рядом с ними, подпирая сгорбленной спиной стул, сидел дед Прохор.

«Не ошибся ли он палаткой?» – подумал я.

Нет, старик сидел за работой, обложив себя шорными инструментами. Он чинил сыромятное путо<sup>3</sup>, пронизывая его толстым шилом, и, сощутив глаза, долго тыкал в дыру обмусоленным концом ушивальника. Его самодельная трубка лениво дымилась, наполняя палатку едким дымом крепкого самосада. Малейший шорох на подстилке заставлял деда Прохора отрываться от работы. Он медленно поворачивал голову и заботливо смотрел на отдохавшее семейство. Его усы, бережно свисавшие на губы, начинали шевелиться, выдавая добродушную улыбку. «Подменил нам кто-то деда Прохора», – удивился я, не веря своим глазам. Он услышал шорох и, погрозив мне пальцем, прошептал:

– Тсс! Спят...

Но щенок проснулся. Он жалобно заскулил и, приподняв голову, начал вертеть ею. А Бойка, увидев возле себя нелюбимого старика, вдруг подвинулась к нему и пронизала его предупреждающим материнским взглядом: дескать, не тронь! Дед же Прохор чубуком трубки перевернул щенка вверх брюшком и, качая неодобрительно головой, долго смотрел, как тот беспомощно махал крошечными лапками, тоскливо взывал о помощи.

– Василь, спишь? Встань-ка, голубчик, – говорил дед шепотом, теребя Василия Николаевича за ноги. – У щенка понос, пропасть может, ему бы лекарства, что ли...

– Где же я возьму ему лекарство?

– Буди ребят: может, у кого порошок какой есть или капли.

– Жалко стало, дед Прохор? А ведь ты вроде не любишь собак!

Прохор отбросил в сторону путо, посмотрел в раздумье на Василия Николаевича:

---

<sup>3</sup> Путо – кусок ремня или веревки, которым связывают передние ноги лошади.

– Тут, брат, камень растает, а сердце разве выдержит? Ведь к нам она притащила его, из-за нас, понимаешь, из-за людей, кинула собака остальных щенят!

– Значит, помирились?

– Куда денешься в таком случае? Да ты глянь, Василь, как его корежит! – вдруг вскрикнул дед Прохор, быстро поднимаясь на ноги. – Видно, тебя не дожидаться, сбегаю-ка сам.

Вскоре дед вернулся с большой охапкой черемуховых веток. Он подошел к костру, сбросил ношу, взглянул удивленно на нас и улыбнулся.

– Наверно, лишку притащил? – сказал он. – Ничего, зато черемуховая кора куда с добром желудок закрепляет.

Все рассмеялись.

– Тут, дед, хватит не только щенку, но и на всех нас, да и на лошадей, пожалуй, – заметил Василий Николаевич.

Часов в двенадцать дня наш караван покинул Систиг-Хем. Продвигались по узкому ущелью к перевалу. Далеко позади шел дед Прохор, ведя на поводу приземистого мерина с объемистым вьюком. Следом за конем бежала Бойка.

Старик не торопился. На его лице видна была озабоченность. Он изредка останавливался, заглядывая в корзину, сплетенную из прутьев и притороченную поверх вьюка. Тогда к нему подходила Бойка. Вытягивая голову, она прислушивалась.

– Живой, мать, живой, – говорил ей ласково дед Прохор. – На перевал заберемся, там, значит, кормить будем нашего зверя. Поняла?

Так начал свою жизнь Кучум. Тайга, ветры и дожди выходили его, а мать научила разбираться в следах, в звуках, привила ему упорство, с каким сама умеет преследовать зверя.

Пока я все это вспоминал, машина вырвалась из леса и уже приближалась к Зее.

Может, будет не лишним сказать несколько слов о современной карте, которую мы собираемся делать в Приохотском крае.

Создание карты – сложный и многообразный технологический процесс. Изобретение советскими учеными высокочастотных приборов и разработка новых методов картографирования позволяют в кратчайший срок на больших площадях составлять карты высокого качества.

Самый совершенный метод создания карт – аэрофотосъемка, когда местность фотографируется с самолета специальным аэрофотосъемочным аппаратом. Фотосъемка производится обычно с высоты от шестисот до пяти тысяч и более метров, в зависимости от масштаба карты. Аэрофотосъемка дает многократно уменьшенное изображение территории.

Для того чтобы все снимки привести к одному общему и заранее заданному масштабу карты, привести их в подобие с местностью, расшифровать изображения различных элементов – леса, кустарника, болота, камня, – нужно проделать большие и трудоемкие полевые работы. По тем местам, над которыми летал самолет – будь то непроходимая тайга, недоступные вершины хребтов, бурнопорожистые реки или безводные пустыни, – везде должны пройти отряды геодезистов. Они сделают точнейшие измерения расстояний углов, чтобы определить положения наиболее характерных точек местности. Этими точками обычно служат господствующие вершины гор, наиболее высокие сопки, возвышенности. Для удобства на выбранных точках строятся деревянные пирамиды, или сигналы, которые видны на большом расстоянии. Геодезисты называют эти точки пунктами.

Следом за геодезистами идут отряды топографов. Пользуясь пунктами и аэрофотоснимками, они детально измеряют местность, собирают все необходимые сведения для будущей карты: названия хребтов, ключей, озер, низин, скорость и глубину рек, характер лесного покрова, проходимость болот, прослеживают тропы, пересекающие местность, и многое другое.



После окончания полевых работ весь материал геодезистов и топографов сосредоточивается в специальных лабораториях и цехах, где при помощи точных оптических приборов на аэрофотоснимках производятся необходимые измерения и построения. Так получается оригинал карты. Затем его вычерчивают во всех необходимых деталях и направляют на картографическую фабрику.

Всю территорию работ мы разделили на три района. В каждом из них будут действовать самостоятельные партии, состоящие из геодезистов, топографов, астрономов, географов. Шесть площадок для самолетов в отдаленных уголках тайги должны в ближайшие дни принять полевые подразделения с оборудованием, снаряжением и годовым запасом продовольствия. Из эвенкийских колхозов к местам работ уже вышло более пятисот оленей в сопровождении пятидесяти проводников-каюров. На территории, подлежащей обработке, предстоит организовать около десяти лабазов с запасами продуктов и снаряжения, расположив их на главных маршрутах прорабов.

Двадцать второго февраля была закончена подготовка таежных посадочных площадок и стала возможна переброска людей и грузов. Погода благоприятствовала нам.

В штабе остается все меньше и меньше участников экспедиции. Николай Иосифович Хетагуров, который весной будет инспектировать работы на южном участке, уже находится на озере Лилимун и на днях с группой геодезистов и астрономов уйдет к главной вершине Чагарского хребта. А я хочу ехать к технику Лебедеву на реку Маю, чтобы помочь обследовать район стыка трех хребтов: Станового, Джугджура и Джугдыра. Затем, посетив истоки реки Зеи, самую дикую часть Станового, попробую перевалить через горы к озеру Токо.

Пока что нам не удалось найти проводников, знающих проходы в этой части Станового. Эвенки, оказывается, туда вовсе не заходят, переваливая через хребет западнее нашего участка. А нам проход нужен именно в восточной оконечности хребта.

Несколько позже мы получили благоприятное сообщение председателя эвенкийского колхоза «Ударник» Колесова. Он писал: «У нас есть восьмидесятилетний старик Улукиткан, который когда-то преодолевал Становой в верховьях Зеи. И хотя он не помнит, где находится перевал, но берется провести вас». Мы, конечно, обрадовались известию, но кандидатура проводника вызвала сомнение: ведь в таком возрасте ему будет трудно путешествовать по тайге. Однако не оставалось ничего другого, как только дать согласие. В письме Колесову я просил выделить в помощь проводнику молодого, здорового парня и направить вместе с оленями на одну из кос на реке Зее.

Пора и нам собираться в далекий путь. Мы добровольно согласились инспектировать работы в еще не исследованном и труднодоступном районе стыка трех хребтов: Станового, Джугджурского и Джугдырского – и побываем на южном крае безлюдного Алданского нагорья. Нас влечет туда жажда увидеть что-то еще не виденное, пережить еще не пережитое, желание встретиться с опасностью.

Удивительно устроен человек! С каким волнением каждый год возвращаешься из экспедиции к родному очагу, к друзьям, театрам, спокойной жизни! И всегда окружающая тебя городская обстановка кажется обновленной, все воспринимается остро, с наслаждением работаешь над дневниками, перелистывая страницы былых походов. Но пройдут первые дни радости, и где-то в глубине души пробуждается тоска по просторам, по бродяжнической жизни. Все чаще мечта уносит тебя в далекую глушь. То вдруг сказочным видением встанет в памяти могучий и грозный Кизир, то яростно взревет пурга, как бы вызывая на поединок, то ласково прошумит высокоствольная тайга, и сердце сожмется от боли. Тесным становится город, стены квартиры сковывают мысли, нигде не находишь успокоения, пока не начинаешь готовиться к очередной экспедиции.

Все мы считали дни и часы, оставшиеся до вылета. Где-то далеко в тайге, на зейской косе, нас ждут проводники с оленями, чтобы отправиться к истокам реки Май, в под-

разделение Кирилла Лебедева. Со мною полетят мой постоянный спутник Василий Николаевич Мищенко и радист Геннадий Чернышев, замкнутый и скупой на разговор, но дельный и упрямый в работе.

Войну Геннадий прошел танкистом. Постоянное напряжение, тяжелые бои приучили его к строгому равновесию в жизни. Он редко смеется, в лучшем случае улыбается. Промокнет ли под проливным дождем или устанет, измотавшись с тяжелой ношей, он всегда бодр. Ни слова жалоб. Он был достойным товарищем в походах.

С нами отправлялись и наши лайки Бойка и Кучум.

Снаряжение состояло из двух легких палаток (для нас и для проводников), железных печей, спальных меховых мешков, небольших брезентов, пологов, алюминиевой и эмалированной посуды и различного хозяйственного инвентаря; пил, топоров, мешков, веревок, подпилников... Мы брали с собою также трехмесячный запас продовольствия: муки, сахара, масла, сгущенного молока, макарон, круп, чая. Мясных консервов в свои запасы не включали, предпочитая свежую рыбу и мясо, добытые в тайге.

Личные вещи были упакованы в потки – выючные олени сумы. Чего только в них не было! Как обычно, я взял с собою два фотоаппарата – широкоплечный и «Киев» – с полным комплектом светофильтров и объективов; запас цветной и черно-белой пленки; спиннинговую катушку, железные коробки с блеснами, шнурами и всякой мелочью, необходимой рыболову; патроны, кожаную сумочку с варом, шилом, иглками, нитками; пикульки, манки для приманивания птиц и многое другое, нужное в походной жизни путешественника. Предметы, которые боялись сырости (пленки, спички, химикаты), мы упаковывали в непромокаемые резиновые пузыри. Белье, одежда, бумага укладывались в сумки из плащ-палатки.

Хозяйством нашего маленького отряда, включая и общее продовольствие, ведал Василий Николаевич Мищенко, человек расчетливый и предусмотрительный.

Одиннадцатый год он ездит со мною в тайгу, и всегда перед отъездом у нас происходят легкие размолвки по поводу закупок. Он выпрашивает у меня деньги.

– Надо бы кисленьких конфеток купить. Ну и банку томату, – говорит он, и на лице его полное безразличие, будто все это нужно только мне.

– Вот, бери двести рублей и кончай с покупками, завтра вылетаем.

– Погляжу, должно бы хватить...

– Лишнего только не набирай.

– Сами же после скажете: вот бы фрукту сладкую съел, чего, дескать, не купил? А где я ее там возьму? Или еще хуже: не хватит, скажем, перцу или спирту, – бросает он, скрываясь за дверью.

Часа через два он снова возле меня.

– Опять за деньгами?

– Табачок нашел «Золотое руно», взять бы хоть пачку. В тайге после чая приятно им побаловаться. И опять же сливы пришли в магазин, как не купить?

Я знаю, что у него давно закуплены и кислые конфеты, и «Золотое руно», и сливы, и что деньги ему нужны на другие покупки, о которых он ни за что не проговорится. Любит Василий Николаевич чем-нибудь неожиданно порадовать в тайге, вот и прячет по своим поткам, как крот, банки, свертки.

Последний перед отъездом день прошел в необыкновенной суматохе. Нужно было написать письма, послать телеграммы. Главный бухгалтер Малиновский положил на стол три толстые пачки финансовых отчетов и не отходит, боясь, что я уеду и документы останутся неподписанными. Наконец все готово к вылету.

Прощай, город! Прощайте, друзья, уют, застольные беседы! За незримую чертой, перейти которую мы так стремимся, нас ждет иная жизнь. Там нет телефонов, справочных бюро, зонтиков, калош, гриппа, сквозняков; обед будет без скатерти, а вместо вилки – пальцы. Там нам

никто не укажет путь и все придется делать самим: чинить штаны, ботинки, печь лепешки, чистить кастрюли, стирать белье. Нас ждут суровые испытания. И плохо тому, кто ослаб в борьбе или не верит в свои силы. Природа к таким беспощадна!

Рано утром мы прибыли на аэродром.

Самолет загружен. Бойка и Кучум уже заняли место и с нетерпением ждут отлета. На лицах провожающих – нескрываемая зависть, а в мыслях – тревога за нашу судьбу. Мы жмем протянутые руки, выслушиваем добрые пожелания и, наконец, расстаемся.

Самолет летит со скоростью трехсот километров в час. Под нами проплывает Зейская долина. Постепенно надвигается, делаясь все более величественным, Становой.

Вскоре в пустынной дали предгорья показалась одинокая струйка дыма на берегу широкой реки. Самолет, теряя скорость, снизился, обошел ледяную площадку кругом, смело приземлился.

На косе стояла палатка проводников, лениво догорал костер, но ни хозяев, ни оленей не было. Мы разгрузили машину, распрощались с экипажем и стали устраивать себе жилье.

## II

С наледью не шути! Худое место.

Палатка готова, а проводников все нет. Неожиданно из тайги на косу выскочила белая собачонка. Увидев нас, она в недоуменье остановилась. К ней тотчас бросился Кучум. Ощетинившись, собаки стали обнюхивать друг друга, видимо, пытаясь угадать, кто откуда и куда идет, сытый или голодный, у зверя был или бродячий. Заглядывали друг другу в глаза, определяя силу противника и характер. При таких встречах, несомненно, собаки что-то узнают друг о друге, в случае необходимости затевают драку. У Кучума с белой собачкой, по-видимому, не возникло спорных вопросов, они мирно разошлись.

Следом за собачонкой появился и человек. Он молча прошел мимо нас к своей палатке, снял с плеча длинную бердану, стряхнул с дохи снег. Затем достал из-за пазухи лепешку, разломил ее на несколько кусков и бросил белой собаке.

– Она из оленьего стада Ироканского колхоза, – видно, зверя гоняла, далеко ушла, торопится обратно, – сказал он и, откашлявшись, уверенной походкой направился к нам. – Здравствуйте... Я думал, напрасно мы тут живем – так долго вы не приезжали.

Это был Улукиткан, наш проводник из эвенкийского колхоза «Ударник».

Он стоял перед нами, старый, маленький, какой-то весь открытый, готовый к услугам. Его темно-серые глаза, прятавшиеся за узкими разрезами век и, вероятно, видевшие много за долгие годы жизни, теплились добротой.

Что-то подкупающее было в его манере держаться перед незнакомыми людьми и в том невозмутимом спокойствии, с каким он нас встретил. От него веяло мудростью долгой и нелегко прожитой жизни, глубокой стариной, темными таежными лесами.

Улукиткан был одет в старенькую, изрядно поношенную доху, задубевшую от ветра, снега и костров. На голове у него копной лежала шапка-ушанка, сшитая из кабарожьих лап. На ногах – старенькие, полуизношенные унты со свежими заплатками. Поверх дошки через плечо висела на тонком ремешке кожаная сумочка с патронами и привязанным к ней старинным кресалом.

В глухих таежных местах еще есть старики, которые в прошлом, до революции, испытали немало бедствий, голод и нищету и научились безропотно переносить невзгоды. В своей памяти они хранят многое, что не записано ни в какой истории. В них живет необыкновенно чистая, доверчивая любовь к людям, к животным, к природе.

Именно таким и был Улукиткан.

Старость много потрудила над ним. Она сгорбила ему спину, затянула лицо сеткой морщин, пальцы на руках изувечила подагрой. На его голове оставил следы и медведь, исполосовав когтями затылок. Говорил Улукиткан медленно, надтреснутым голосом, плохо выговаривая русские слова.

С первой встречи этот необыкновенный старик подкупил нас своей простотой и доброй улыбкой. Все как-то сразу прониклось к нему уважением.

Мы пригласили его выпить с нами чаю. Войдя в палатку, старик снял дошку, бережно сложил ее вдвое и, усевшись на нее возле печки, стал отогревать руки.

– Пошто так задержались? – спросил он с явным беспокойством.

– Погоды долго не было летной, да и хлопот много... Раньше не могли никак.

– Плохо. Снег размяк, вода пойдет поверху льда, как ехать будем?

– А ты один? – спросил я его, пока Василий Николаевич разливал по кружкам чай.

– Товарищ есть. Николай Лиханов. Он оленей пошел смотреть, скоро придет. Тоже старик. Мы с ним постоянно вместе тайга ходим.

– Как старик? – удивился я. – Мы же просили Колесова, вашего председателя, выделить тебе в помощь молодого парня. Не нашлось, что ли?

– Колхоз люди много, однако молодой теперь все ученый стал, по книге тайгу учит, а оленью узду не умеет сделать, след зверя теряет... Зато клуб дорога хорошо знает! – ответил сердито Улукиткан.

– Вам, старикам, ведь тяжело будет работать, – возразил я.

– Ничего, нам привычно, да я и не хвораю никогда. Когда время придет – сразу эскери<sup>4</sup> заберет. А Николай в тайге лучше молодого.

– Ну хорошо, увидим. А почему у тебя эвенкийское имя, а у Лиханова русское? – продолжал я разговор.

– У него мать была русская, она ему свое имя давала. За палаткой слышались шаги, кто-то постучал, сбивая с ног снег, кашлянул и ввалился внутрь.

– Шибко много людей стало у нас на косе... Здравствуйте! – сказал он, снимая шапку.

– Проходите, садитесь, – предложил Василий Николаевич, освобождая место.

Это был высокий, крепкий старик, на вид лет пятидесяти, с плоским, скуластым, почти круглым лицом, одетый по-эвенкийски: в дошку, лосевые штаны и лапчатые унты. Тугая и дочерна смуглая кожа только на лбу у него была пересечена морщинами. Толстые, вывернутые наружу губы были опушены мелкой седой порослью. Жиденькая бороденка из считанных волос в беспорядке торчала по краешку подбородка. Лицо простое, добродушное, на нем, как в зеркале, отражался покладистый характер старика.

Это и был Николай Федорович Лиханов, наш второй проводник. Его черные глаза, подвижные, как ртуть, в одно мгновение осмотрели нас всех. Он поздоровался со всеми за руку и тоже уселся возле печки.

– Куда кочевать будем? – спросил Лиханов.

– В верховье Май.

– Не поздно, как думаешь? Худое время: наледь скоро должна пойти. Оленям худо будет тащить груженные нарты по воде. Шибко запоздал, боязно трогаться – как бы не пропал где.

– Мы должны ехать, – твердо сказал я. – Если не пробьемся на нартах, бросим часть груза в лабазе и уйдем вьючно. Если вообще на оленях уже не пройти, уйдем с котомками на лыжах. Знаем, что не время сейчас путешествовать, но что делать... Надо.

– Ничего, помаленьку доедем, – вмешался в разговор Улукиткан. – Олени свежие, люди мало-мало здоровые. Если наледей бояться, то от пурги помирать надо...

Гости засиделись до полуночи. Нас интересовало все в этом загадочном крае: какой лес, доступны ли летом реки для брода, есть ли в горах звери, где лежат проходы? Старики отвечали охотно. Выяснилось, что март у местных жителей считается месяцем больших снегопадов, частых буранов и затяжных наледей, покрывающих в это время русла рек. Но проводников больше всего беспокоил Джугдырский хребет: трудно будет с груженными нартами подняться на него из-за глубокого снега. Кое-что мы узнали от них о Становом хребте, который нам придется посетить после обследования верховьев Май. Оказывается, в восточной части этого хребта местные эвенки не бывают, и только иногда у подножия гор ненадолго останавливаются пастухи с кочующими стадами колхозных оленей. Скалы, густые стланики сделали горы недоступными для каравана. Охотники при необходимости переваливают через хребет далеко западнее, пользуясь другими проходами. Сам же Улукиткан пересекал восточную часть хребта очень давно, примерно в восьмидесятых годах прошлого столетия, еще будучи мальчиком, и не помнит, где именно.

– Человек мало живет, но постоянно меняется: то маленький, то большой, то молодой, то старый, а скалы и горы долго живут и всегда одинаковые. Когда Становой пойдем, я буду

---

<sup>4</sup> Эскери – бог или злой дух

кругом ходить, хорошо смотреть, приметя искать, потом вспомню, где лежит проход, – говорит Улукиткан монотонно, но так убедительно, что мы невольно проникаемся уверенностью: проход будет найден.

Из разговора с проводниками мы уже примерно представляем себе район стыка трех хребтов, куда так нетерпеливо стремимся попасть. Нас ждет большой безлюдный край, густо изрезанный дикими ущельями, заросший непроходимым стлаником, с бурными речками. Там нет ни троп, ни дорог и мало проходов. А мы действительно запоздали. Теперь придется встретиться со множеством препятствий на пути. Будут наледи, пурга, лютый мороз... Словом, нам предстоит принять «боевое крещение», испытать на себе все прелести путешествия по Приохотскому краю в осеннее ненастье.

– Если сил хватит добраться до верховья Май, тогда хорошо, там хуже не будет, – сказал Улукиткан подбадривающим тоном, выходя из палатки.

Была уже глубокая ночь. На землю падали пушистые хлопья снега. Порывы холодного ветра подхватывали их, кружили и снова бросали на землю. В палатке наш радист Геннадий монотонно стучал ключом, заканчивая передачу радиogramм.

Я лег, но долго не мог уснуть. Тревожно слушать, как злится вьюга, как стонет тайга и воет ветер по старым дуплам. И что-то чарующее есть в этих грозных звуках. Трудно представить себе горы, тайгу без бури, грозы, грохота обвалов, без шума водопадов, без звериного рева и гусяного крика в небе. Именно эти звуки подчеркивают мощь, красоту и дикость окружающей природы.

«Что нас ждет впереди?» – думал я, вслушиваясь в завывания ветра.

Утром Василий Николаевич проснулся раньше всех и взялся за приготовление завтрака. Встали и мы с Геннадием.

Погода продолжала бесноваться. Гнулись ели, цепляясь кронами за корявые сучья тополей. Свистел ветер, унося в пространство потоки снежной пыли. Ничего вокруг не было видно.

Что делать? Ехать или дожидаться хорошей погоды?

В палатку просунулась голова Улукиткана:

– Худой погода, холодно.

– Как же быть?

– Николай ушел за оленями. Собирайтесь. Лучше в пургу ехать, чем по наледи. Так говорили еще наши старики. – И он, не заходя в палатку, исчез.

Мы быстро расправились с завтраком, упаковали постели, вещи и, как только пригнали оленей, сняли палатку. Все было готово, чтобы тронуться в путь.

Улукиткан вывел ездовую упряжку вперед, привязал к ней свою связку оленей и еще раз опытным взглядом окинул нарты.

С этого дня по молчаливому сговору мы признали его старшим среди нас.

...Мы пересекли неширокую полосу берегового леса, вышли на марь – безлесную, заболоченную низину, покрытую кочками, – и взяли направление на северо-восток. Впереди на лыжах Улукиткан. Он ведет оленей. Его сгорбленная фигура часто теряется за мутной завесой бурана.

Я позади всех. К моим нартам привязаны Бойка и Кучум. Они еще не привыкли к оленям, и нам приходилось держать их на привязи.

Уныло скрипели полозья, оставляя на затвердевшем снегу глубокий след тяжелых нарт. Горбились от натуги спины оленей.

Как хорошо, что человек приручил оленей. Без этого невозможна была бы жизнь людей в этом суровом и диком крае. Олень не только возит, он кормит, одевает, обувает северянина. Можно наверняка сказать, что нет вкуснее оленьего мяса и нет ничего легче и теплее одежды, сшитой из шкуры этого животного.

В отличие от собрата – благородного оленя – северный олень некрасив, приземист. У него слишком вытянутое туловище, короткие ноги, голова почти всегда опущена. Хотя рога и достигают иногда огромных размеров, они отнюдь не украшают его. Северный олень рожден суровой тундрой, и когда глядишь на него, то невольно перед глазами встают необозримые снежные равнины с низкорослой растительностью, блюдцами стылых озер, полярные ночи и затяжные бураны с их смертоносной стужей.

Северный олень отлично приспособлен к условиям скупой и холодной природы. Пищей ему служат едва заметные растения: ягель, чихрица и другие лишайники, мхи. Своим тонким чутьем он улавливает запах ягеля даже под глубоким снегом. Но в первой половине лета олень охотно питается зеленью: листьями кустарников, березок, ерников.

Мы медленно продвигаемся вперед, пробиваясь сквозь непогодь. Проводники изредка перебрасываются короткими фразами, после чего обычно караван сворачивает вправо или влево.

Удивительно, как старики угадывают направление! Ведь едем мы без всякой дороги, вокруг в белесой мгле ничего не видно. Но это, пожалуй, вовсе не волновало проводников. Они все чаще покрякивали на оленей и, казалось, все увереннее прокладывали путь.

Только к концу дня метель наконец стихла, и сквозь поредевшие облака показались кусочки голубого неба.

Ночевать спустились к реке. Это была первая наша остановка, и мы с удовольствием принялись за устройство лагеря: утапывали снег, выстилали «пол» хвоей, ставили палатки. Через час в нашем полотняном домике уже дымилась печь, и возле нее суетился Мищенко, готовя ужин.

Олени разбрелись по краю мари. Одни из них, добираясь до корма, стали разгребать сильными ногами снег, другие передвигались по кромке леса, срывая лишайники, космами свисающие с еловых веток. Ну как не удивляться приспособленности этих животных! Посмотрите, как легко они бродят по глубокому снегу. Этому способствуют необыкновенно широкие копыта. Они у северного оленя почти вдвое больше, чем у любого другого вида оленей. Во время бега копыта могут широко раздвигаться, увеличивая площадь опоры, и животное не проваливается глубоко даже в сухом, сыпучем снегу.

Вот один из крупных быков Улукиткана уже наелся ягеля и там же, в выбитой им яме, улегся отдыхать. Он не замерзнет: длинная шерсть с очень густым подшерстком служит ему надежной защитой от низкой температуры и холодных ветров.

Мои размышления неожиданно прервали собаки. Отпущенные на прогулку Бойка с Кучумом ворвались в стадо. Одно мгновение – и я стал свидетелем, как мирно пасущиеся животные вдруг в панике бросились от них прочь. Какое незабываемое зрелище! Словно ветер, летели олени, закинув рога на спину и вытянув вперед свои длинные головы. Ноги едва касались земли, только снег вздымался брызгами во все стороны из-под копыт да густой пар, легким облаком вылетая из ноздрей, окутывал морды. Трудно представить себе более быстрое животное, нежели олень.

Из палаток выскочили люди, мы стали кричать на собак, грозиться, кто-то два раза выстрелил, и только после этого Бойка и Кучум остановились. Они вернулись в лагерь, не понимая, почему им не разрешили резвиться. Скоро успокоились и олени.

– Однако, мороз будет: много звезд на небе, все играют, – сказал Улукиткан, пролезая в нашу палатку.

За ним показался и Лиханов. Проводники уселись в дальнем углу, и Василий Николаевич стал угощать их чаем.

Старики обрадовались. Они, видно, любили побаловаться чайком. Пили медленно, громко втягивая через сжатые губы обжигающий, почти черный напиток.

– Спасибо, напился! – сказал, наконец, Улукиткан. – От крепкого чая, что от доброго слова, сердце мякнет.

Он стяхнул в чашку хлебные крошки, туда же вылил из блюдца недопитый чай, все перемешал и выпил.

Улукиткан интересовал меня все больше и больше. Да разве только меня! В облике этого старого эвенка было что-то неотразимо привлекательное. Особенно поражали его глаза. Серые, задумчивые, они смотрели на мир и людей удивительно ласково. И мне захотелось узнать, какой путь остался у него позади, какие удачи, разочарования шли по пятам этого восьмидесятилетнего старика и что помогло ему сохранить жизнерадостность.

Улукиткана не пришлось спрашивать. Вероятно, ему самому хотелось вспомнить далекое, очень далекое детство, годы скитаний по тайге, тропы, кочевья, родные речки, хребты, где прошла его жизнь. Он поправил под собою дошку, уселся поудобнее, и его густые брови сомкнулись в раздумье.

– Хорошо, – сказал он, поднимая голову. – Я расскажу вам, где родился, какой тропой шел, что видел в жизни, и вы догадаетесь, почему у Улукиткана стали кривые пальцы, плохо разгибается спина, много меток на голове...

С тех пор как я увидел первое солнце, много раз приходила и уходила зима, прилетали и отлетали птицы, зеленел и оголялся лес! За это время изменилась и жизнь эвенков. Плохой закон был раньше в тайге. Старики так думали: эскери дает человеку оленей, чтобы они его возили, кормили мясом, одевали в шкуры. Эскери посылает в его ловушку зверя, указывает, куда надо кочевать. Если эвенку удача была – считали, что ее послал эскери, а если горе в чум приходило – виноват хозяин. Худо тогда жили эвенки: ни чумов добрых у них не было, ни продуктов, ни снастей. Все хозяйство вела баба. Она и оленей пасла, и аргишила<sup>5</sup>, и шкуры выделывала, дошки, штаны, унты шила, дрова припасала, обед варила, за детьми смотрела – кругом все баба. А мужик что? Только охоту знал да ругал жену, что плохо хозяйство ведет, – не торопясь рассказывал Улукиткан.

– Когда бабе приходило время рожать, она делала себе в стороне от становища маленький чум, люди не должны были слышать, как кричит баба в маленьком чуме. Такой дурной обычай был. Трудно было тогда эвенку достать кусок материи. Мать вытирала ребенка сухой мелкой трухой от старого пня, обкладывала мхом, заворачивала в кабарожью шкурку и приносила в большой чум. Если на пупке долго не сохла кровь, прикладывали серу или присыпали золой из трубки. Крикливого ребенка купали в снегу, чтобы он лучше спал. В такое время родился и я. Это было после зимы, у белки уже появились щенки, и мать назвала меня Улукиткан – значит «бельчонок».

Жили на Альгоме, по ту сторону Станового. Лето, зиму – все время кочевали по тайге.

Ворон где труп найдет, там и живет. Мы тоже раньше так: где отец зверя убьет, там и ставили свой чум. Только не всегда нам удача была. Другой раз долго не клали мяса в котел, лепешки не было, а масло и сахар совсем не знали. Даже удачливому охотнику жить было нелегко.

Отец слышал, что у лючи<sup>6</sup> есть белый камень: когда положишь его в рот, он тает, как снег, язык к губам липнет, как еловая сера, а слюна делается слаще березового сока. Отец видел у купца холодный огонь и рассказывал, что его можно долго в кармане носить, а когда он станет горячим, от него зажигается трубка, береста, дрова – так о спичках тогда говорили. Один раз он возил меня далеко в соседнее становище, чтобы показать зеркальце. Чудно было: всего с ладонь, а вмещает больше чума. Смотришь в него, а видишь все, что сзади тебя делается. Сосед

---

<sup>5</sup> Аргишить – кочевать (аргиш – кочевье).

<sup>6</sup> Лючи – русский.



шибко радовался: обманул купца – за два соболя выменял зеркальце! Так было, это правда, – вздохнул Улукиткан.

Когда я научился сгонять ножом тонкую стружку с палки и сидеть на олене не привязанным к седлу, это было время ледохода<sup>7</sup>, мы стали кочевать к Учурской часовне<sup>8</sup>. Хорошо аргизить на ярмарку, когда в турсуках – сумках много соболиных и беличьих шкурок! Радовались, все думали, какой покупка делать будем, – и то надо и другое. Не было припаса, ружья доброго, муки, котла. Все хотели купить. Пушнины хватит, два года собирали! Приехали на ярмарку. Купцы-якуты добрыми кажутся – по короткому лаю собаку от лисы сразу не отличишь. Вином угощают, хорошо разговаривают, пушнину даром не берут – все меняют: за иголку – белку, за крест – колонка, за топор – соболя, за икону – доброго оленя. Им доход, эвенку диво. И оленям хорошо, возить в тайгу нечего!

Поп ходил по всем чумам, проверял: у кого нет креста – в прорубь таскал крестить, в холодную воду толкал. Эвенки ему стали выкуп носить: кто соболя, кто лису. От хороших подарков размяк поп, как снег от майского солнца. Не таскал в воду, крестил в чуме. Мне сказал: «Тебе имя Семен». Но мать говорила: «Какой ты Семен? Ты Улукиткан!»

Разошлась пушнина за вино, за зеркальца, за бисер. Ясак<sup>9</sup> уплатили, Богу дали маленько – он тоже любил соболей – и в тайгу ушли, когда лиственница зеленеет<sup>10</sup>. Ушли легко. Только обидно было. Как так получилось? Будто все купец считал правильно, белки даром не брал, а турсуки наши остались пустыми. Мать шибко ругала отца, почему ни муки, ни котла, ни куска материи не брал. Он говорил: «Ничего, Бог лючи нынче обещает хороший промысел, опять приедем ярмарка, купим». Да только не так случилось. Если кремня нет, сколько ни бей кресалом по языку, огня не добудешь. Обманул Бог, тайга сильнее его...

У старика оборвался голос низкой, печальной нотой. Наступила тишина. Кто-то поправил свечу. Василий Николаевич подбросил в печку дров. Из-за ближнего леса палатку осветила луна.

Рассказчик смочил горло холодным чаем, поправил под собой дошку и заговорил еще медленнее и раздумчивей. Он рассказал, что в тот год по тайге прошел страшный мор. У чумов валялись трупы оленей, погибли звери и птицы. Леса на огромном пространстве оказались опустошенными. Чтобы спастись от гибели, эвенки бежали в дальние районы. Но в пути падали последние олени, умирали люди, жирело воронье.

Родители Улукиткана со всей семьей уходили за Становой. От стариков они слышали, что за хребтом есть река Эникан<sup>11</sup>, богатая рыбой и зверем. Нужно было перевалить через большие горы. Но как найти перевал? Все проходы завалены россыпями, сдавлены скалами и крепко заплетены стлаником. Шли наугад, питались травой, корнями.

И тогда наступило самое страшное. Отец заболел и остался на реке Мулам, где пал последний олень. Семья ушла, не дождавшись развязки. Старику дали небольшой кусок самула<sup>12</sup>, половину сыромятной узды от павшего оленя да на три дня дров для костра. С отцом была старая собака. Что случилось с ними, никто не узнал. На второй день на поляне, где оставили больного отца, уже не дымился костер. Не догнала семью и собака. А Улукиткан с матерью и сестрой после долгих поисков все же нашли перевал.

---

<sup>7</sup> Время ледохода – май.

<sup>8</sup> Учурская часовня была выстроена еще в прошлом столетии на реке Учур. Среди эвенков насаждали православие. Близ часовни ежегодно открывалась ярмарка. Из далеких и глухих мест приезжали эвенки, чтобы продать купцам пушнину, свои изделия и купить припасы.

<sup>9</sup> Ясак – натуральный налог (пушнинной).

<sup>10</sup> Лиственница зеленеет в июне.

<sup>11</sup> Эникан – мать, так называлась у эвенков тогда Зея.

<sup>12</sup> Самул – сухая кровь.

– Тогда только я и переходил Становой, это было шибко давно, – продолжал рассказывать Улукиткан, напрягая свою память. – Когда мы вышли на хребет, сохатый терял жир<sup>13</sup>. Там мы нашли много мангесун<sup>14</sup>, хорошо кушали. Только это и помню, а где лежал перевал, совсем забыл. Не думал остаться живым, смерть так держала меня. – И он, растопырив руки, словно коршун крылья, впился костлявыми пальцами в свои сухие бока. – Так крепко! Она хотела меня кончать, а я не хотел, ходил дальше. Спустились мы к Эникану – увидели след кабарги, сделали там балаган и начали опять жить...

Старик заметно уставал. Голос его все чаще обрывался, и тогда он погружался в глубокое раздумье. Но, передохнув, он вел свой рассказ дальше.

Горе, перенесенное эвенкийской семьей через Становой, еще долго продолжало жить рядом с нею. Не было оленей, одежды, припасов, даже куска ремня, из которого можно было бы сделать тетиву для лука-самострела. Это была трудная борьба за жизнь, за кусок мяса и шкуру. В лесу появились кабарожьи ловушки, плашки и пасти<sup>15</sup> на зайцев. В реке семья добывала рыбу. Но Улукиткан был еще слишком молод, чтобы противостоять нужде. Он не выдержал и ушел с семьей в батраки к кулаку Сафронову. А стадо оленей Сафронова занимало тогда все верховье Май с ее притоками Чайдах, Кукур и Кунь-Манье.

– Однажды на Большом Чайдахе, – продолжал старик после очередной паузы, – я нашел след, долго смотрел и думал: «Это какой люди тут ходи? Раньше такой след не видел». Мать сказала: «Тут лючи был, его носит такой большой олочи<sup>16</sup>, тяжелый, как зимняя котомка». Через день лючи пришел в наш чум с проводником. «Ты что так смотришь на меня?» – спросил он. «Моя раньше лючи не видел». – «Понравился?» – «Нет, – говорю. – Твое лицо совсем другое, узкое, все равно что у лисы, нос острый, однако шибко мерзнет зимой, а глаза круглые, как у филина. Ты, должно, плохо днем видишь. Твоя люди некрасивый».

Лючи смеялся. Он хороший был человек. Его палатка долго стояла рядом с нашим чумом. Я водил его к зеленой скале за Чайдах, там он смотрел всякий разный камень, потом сказал, что там колчедан. Лючи говорил мне, что далеко внизу Зея есть большой стойбище, там люди золото копают, шибко звал меня туда. Да как ходить без своих оленей? Бедняку и хорошая тропа – хуже болота.

Три года пасли мы оленей. Стадо разрослось, работы было много. Но умерла мать. Тогда говорили, что пропадает только тело, а душа кочует в другой мир и там ждет: когда тела не станет, она вернется на землю и вселится в бальдымакту<sup>17</sup>. В те времена покойника клали в долбленое корыто и поднимали высоко на дерево. Люди не должны были оставаться жить в таких местах – нельзя беспокоить покойника. Мы с сестрой собрали оленей и ушли с ними к хозяину Сафронову. «Я больше работать не могу. Нас осталось двое... Стадо большое, силы не хватает, давай расчет», – сказал я. «Какой тебе расчет? Будем стадо считать, потом посмотрим, кто кому должен». Считали. Он говорит: «Тебе за работу надо отдать тридцать оленей. Верно?» – «Верно». – «Ты потерял моих пятьдесят; верни двадцать или отработай». – «Как так? Стадо наполовину больше стало, почему обманываешь?» – «Мы, – сказал Сафронов, – не договаривались платить в счет молодой олень».

Долго спорили, напрасно пальмой (пальма – длинный нож с метровой деревянной рукояткой, заменяющий топор) воду рубили. Волк от голоду воет, а кулак – от жадности. Я говорил ему: «Твой жирный брюхо много чужой олень лежит, клади и мои». На двадцать олень давал ему расписку и ушел...

---

<sup>13</sup> Сохатый теряет жир во второй половине сентября.

<sup>14</sup> Мангесун – лук.

<sup>15</sup> Пасть – ловушка из бревен.

<sup>16</sup> Олочи – легкая летняя обувь из лосины.

<sup>17</sup> Бальдымакта – новорожденный.

– Какую же ты мог дать расписку, если был неграмотный? – перебил его Мищенко.

– Эвенкийский расписка была другая, деревянная. Так делали ее. – И, вынув нож, Улукиткан стал выстругивать четырехгранную палочку.

Долговой документ – эвенкийская расписка – выстругивался из крепкопрямослойного дерева квадратной формы, длиной примерно в десять-двадцать сантиметров, в зависимости от величины долга. На одной стороне палочки делалось столько зазубрин, сколько, скажем, оленей давалось в долг. На нижней стороне грани, под зубцами, вырезались с одного конца олень, с другого – клеймо должника: крестик, веточка, рог или след. Затем палочку раскалывали так, чтобы зубцы, клеймо и олень разделились примерно пополам. Одна половина оставалась у заимодавца, другая – у должника. Когда же происходили расчеты, половинки соединялись и срезалось столько зазубрин, сколько возвращалось оленей или за сколько оленей уплачивалось.

Эта деревянная расписка кажется наивной, но она лишний раз подтверждает житейскую честность лесных кочевников.

Улукиткан унес от Сафронова половинку расписки с двадцатью зубцами. Долго скитался он с сестрой по чужим, незнакомым горам. Ветер показывал путь, роса смывала их след. Лишь на реке Джегорма они встретили первую семью кочующих эвенков. Им отвели место в чуме, в общий котел положили на их долю мяса, дали шкуру, чтобы починить олочи, – кажется, о большем тогда и не мечтал эвенк. Сестра вышла замуж и осталась в этой семье. Улукиткан же решил вернуться за хребет к родным местам, на реку Альгама, где провел детство и где, казалось ему, природа щедрее, чем на Зее.

– Да только и там не нашел тогда счастья, – заключил Улукиткан.

В палатке стало тихо. В печке слегка потрескивали дрова, да над лесом изредка ухал филин. В темном углу сидел старик, сгорбленный, совсем маленький, погруженный в свои думы. Видно, не забыть ему этого далекого прошлого: обид, унижений, неудач.

– Однако, довольно, еще много ночей впереди, – сказал Улукиткан, поднося к губам кружку с холодным чаем.

Пожалуй, тревога наших проводников относительно наледей напрасна. Речной лед, по которому мы едем, слегка запорошен сухим снегом, нарты скользят легко, и лучшей дороги не придумаешь. Да и погода нам благоприятствует: тихая, солнечная.

К концу третьего дня мы достигли устья Лучи – левобережного притока Купури. Дорогой, кроме береговых возвышенностей, мы ничего не видели и не имели представления о местности, которую пересекали. Продолжать путь вслепую не хотелось, поэтому вечером, как только все хлопоты по устройству лагеря были закончены, я поднялся на ближнюю сопку, чтобы осмотреться. До темноты оставалось часа полтора.

На юг от меня, за реками Купури и Лучи, раскинулась гористая местность с широкими падами и пологими, однообразными сопками, перемежающимися с низкими седловинами. Склоны покрыты редким лиственничным лесом, и только далеко, километров за двадцать от нашего лагеря, на Аргинской водораздельной гриве, виден хвойный лес, вероятно сосновый. Горизонт же на северо-западе заполнен высокими гольцами, прочесанными последними лучами заходящего солнца. То, видимо, Околонский голец, им заканчивается один из мощных южных отрогов Станового хребта.

Как хорошо здесь! Как далеко все видно и привольно дышится! Затухает бледная заря. Одинокое облачко, словно волшебный корабль, медленно плывет по небу...

Неохота уходить отсюда!

И вдруг какой-то протяжный звук, напоминающий флейту, доносится из голубого лога. Я прислушиваюсь и неожиданно улавливаю такой же звук уже с противоположной стороны. Но это не запоздалое эхо и не крик филина, предупреждающий о наступлении ночи. В звуках что-то тоскливое, отягощенное безнадежностью. Так и не разгадав, что это, я вернулся в лагерь.

Вечерами мы обычно собирались в нашей палатке и подолгу пили чай. Едва я разделся и присел, как послышалось повизгивание собак, привязанных к нартам. Коротко твякнул Кучум. Проводники встревожились.

– Кто-то чужой близко ходит, – сказал Улукиткан, поспешно натягивая на себя дошку.

Мы вышли из палатки. С нагретых мест соскочили собаки. Они стояли во весь рост, всматриваясь в темноту и настороженно шевеля ушами.

– Отвязать надо, – сказал я.

Улукиткан схватил меня за руку:

– Пускать нельзя, подожди. Надо узнать, кто ходит...

Вдруг из темноты послышался отвратительный вой волка. Он разросся в целую гамму какого-то бессильного отчаяния и замер в морозной тишине высокой, жалобной нотой. Эхо внизу повторило голодную песню. Не успело оно смолкнуть, как до слуха донесся шум. Он ураганом несся на нас из леса. Вот мелькнул один олень, второй... Мимо бежало обезумевшее от страха стадо.

Василий Николаевич и Геннадий бросились наперерез, пытаюсь задержать оленей; следом за ними, спотыкаясь, бежал с поднятым кулаком Николай Федорович. А шум все удалялся и вскоре заглох далеко за лесом.

– Эко беда, – говорит Улукиткан, неодобрительно покачивая головой. – Какой худой место остановились ночевать...

И тут я вспомнил о странном звуке:

– Я, кажется, слышал на сопке, как выли волки, я не догадался...

– Почему не сказал? Надо иметь привычка: что не понимаешь, спрашивай. Мы бы олень караулили, – упрекнул меня старик, всматриваясь в темноту.

Я стал разжигать костер. Бойка и Кучум все еще тянули нас в ту сторону, откуда донесся вой. Они визжали и оглядывались на нас, как бы говоря: неужели вы не слышите, что там делается?

– Давай отпустим собак, – настаивал я.

– Нельзя, – забеспокоился старик. – Они уйдут за стадом, а пуганые олени собаку от волка не отличают, далеко убегут.

Из-за макушек елей выглянула луна, и тотчас заметно посветлело. Бойка и Кучум, видимо, доверились тишине, улеглись спать.

Наши вернулись без оленей.

– Что делать будем? – спросил я Улукиткана.

– Немножко спать, потом стадо догонять пойдем. Олень быстрый, далеко уйдет, но след от него не отстанет.

Пока ходили, в палатке потухла печь. Мищенко подбросил стружек, сушника, и огонь ожил.

Мы долго не спали. Улукиткан и Лиханов сильно встревожились. Шутка ли – убежало все стадо! Удастся ли собрать его? И сколько оленей зарезали волки?.. А может быть, они еще продолжают преследовать стадо? Тогда не миновать большой беды.

– У-у-у, проклятый, шибко хитрый хищник! Они, однако, идут нашим следом... – И старик долго рассказывал нам про жизнь волков, которые не раз приносили жителям тайги большие несчастья.

Плохо волку зимой – нечем поживиться, а голод мучает. Жизнь серого бродяги с самого рождения безрадостна – словом, волчья жизнь! Волчица не балует детей лаской. Как только у щенков прорезаются глаза, она начинает приучать их к жестокой борьбе за существование. Горе волчонку, если он в драке завизжит от боли или проявит слабость! Мать безжалостна к нему. Она будто понимает, что только сильный и жестокий в своих стремлениях зверь способен выжить зимой в тайге. Может, потому волк с самого детства и бывает бешеным в злобе,

доброе же чувство никогда не проявляется у него даже к собратьям. Достаточно одному из них пораниться или заболеть, как его свои же прикончат и съедят.

Ляжет на землю зима, заиграют метели, и с ними наступит голодная пора. Зимой волку невозможно питаться в одиночку. Не взять ему сохатого, да и зайца трудно загонять одному. Звери стаями рыщут по тайге, наводя страх на все живое.

В волке постоянно борются жадность и осторожность. Посмотрите, как осторожно идут волки вдоль опушки леса. Стаю ведет матерый волчище против ветра – так он дальше чует добычу или скорее разгадает опасность. Все идут строго одним следом, и трудно угадать, сколько же их прошло – три или пятнадцать: так аккуратно каждый ступает в след впереди идущего собрата. Поступь у всех бесшумная, глаза жадно шарят вокруг, задерживаясь на подозрительных предметах, а уши подаются вперед, выворачиваются, настороженно замирают, улавливая малейшие звуки. Останавливаясь, зверь пружинит ноги, готовые при малейшей опасности отбросить его в сторону или нести вдогонку за жертвой.

Копытного зверя волки гонят сообща, не торопясь. Пугнут – и рысцой бегут следом. Снова пугнут. И так сутки, двое не дают жертве отдохнуть и покормиться. Чем сильнее живот поддается страху, тем быстрее изматывается и напрасно ищет спасения в бегстве.

Я наблюдал случай, когда стая волков зарезала крупного сохатого-быка.

Это было в марте. В тайге лежал снег. Девять волков бежали большим полукругом, тесня сохатого к реке. Они хорошо знали: на гладком речном льду копытное животное не способно сопротивляться. Это понимал и сам лось, все время старавшийся прорваться к отрогам. Но он уже отяжелел, сузились его прыжки, все чаще стал он задевать ногами за колодник<sup>18</sup>. Препятствия, которые он час назад легко преодолевал одним прыжком, стали недоступными. Завиляя след лося между валежником – признак полного упадка сил. Несколько волков уже прорвалось вперед, и лось внезапно оборвал свой бег, засадив глубоко в снегу все четыре ноги.

Замкнутый, осторожный и трусливый, волк в минуту решающей схватки дает полную волю своему бешенству и злобе, делается яростным и дерзким.

У лося еще сохранился какой-то скрытый запас сил для сопротивления. Огромным прыжком он рванулся к отрогу, и в это мгновение повисла на его груди тяжелая туша волка, брызнула кровь. Удар передней ноги – и хищник полетел мертвым комом через колоду. Между тем второй уже сидел на крестце, а третий впился клыками в брюхо. Сохатый упал, но мгновенно вскочил, стряхнул с себя одного волка. Удар задней ногой – и второй волк упал в чащу с перебитым хребтом.

Стая, предчувствуя близость развязки, свирепела. Сгустки крови на снегу еще больше ожесточили ее.

Лесной великан окончательно выбился из сил, затуманились его глаза. Поблизости не было ни толстого дерева, ни вывернутого корня, чтобы прижать уязвимый зад, чаще всего подвергавшийся нападению, и лось, сам того не замечая, стал отступать к реке.

Но как только его задние ноги коснулись скользкого льда, лось, словно ужаленный, бросился вперед, на волков. Теперь уже всюду смерть. Завязалась последняя схватка. Взбитые ямы, сломанные деревья, разбросанная галька свидетельствовали о страшной борьбе, которую выдержал лось, прежде чем отступить на предательский лед...

Волки могут длительное время следовать за кочующим стадом домашних оленей. Осторожность никогда не покидает их.

В ожидании удобного момента для нападения они способны проявлять удивительное равнодушие к голоду. Задремлет пастух, не дождавшись рассвета, и волки близко подберутся к отдыхающим оленям. Взметнется стадо, да поздно. Падают олени, обливая снег кровью, и тогда нет предела жадности хищника.

---

<sup>18</sup> Колодник – обломки упавших деревьев.

Иногда, убив несколько десятков животных, стая уходит, не тронув ни одного трупа, будто все это делалось ради какой-то скрытой мести человеку...

Рано утром от палатки проводников в тайгу убежал лыжный след. Он отсек полукругом лог, где вечером паслись олени, прихватил километра два реки Купури ниже лагеря и вернулся к палатке. Мы уже встали и были готовы идти на розыски.

– Проклятый волки, два оленя кончал! – гневно сказал Улукиткан, сбрасывая лыжи и стирая варежкой с лица пот. – Они, однако, идут нашим следом давно; надо хорошо пугать их, иначе не отстанут, еще зарежут олень.

Старик торопил всех и сам спешил. Я с ним пошел к убитым оленям, а остальные отправились следом за убежавшим стадом.

Мы пробирались к вершине лога.

Олени лежали рядом, друг возле друга, недалеко от промоины. У рваных ран ноздреватой пеной застыла кровь. Оба трупа оказались не тронутыми волками – видимо, что-то помешало их пиру.

– А нельзя ли устроить ночную засаду? – спросил я.

– Волки голодный, однако, далеко не ушли. Может, придут, надо караулить, – согласился старик.

Только к вечеру собрали стадо. Но и это было удачей. Пожалуй, ни одно животное так не боится волков, как олени. Страх делает их совершенно неспособными к сопротивлению, и они ищут спасения лишь в бегстве.

В пятнадцатиградусный мороз трудно просидеть ночь на открытом воздухе, да еще без движения. Отправляясь в засаду, старик заботливо завернул ноги в теплую хаикту<sup>19</sup>, надел меховые чулки и унты, а поверх натянул мягкие кабарожьи наколенники. О ногах позаботился, а грудь оставил открытой, даже рубашку не вобрал в штаны.

– Куда же ты идешь так? Замерзнешь! – запротестовал я.

Улукиткан вскинул на меня удивленные глаза:

– В мороз ноги надо хорошо кутать, а грудь сердце греет.

Он перехватил живот вязками дошки, затолкал за пазуху варежки, спички, трубку, бересту, и мы покинули палатку.

Промоина оказалась хорошим укрытием для засады. Наше присутствие скрадывали заиндевевшие кусты, нам же в просветы между ветками были хорошо видны трупы животных и вершина широкого лога.

– Ты будешь дежурить с вечера или под утро? – спросил я старика, зная, что одному высидеть ночь тяжело.

– Нет, моя плохо видит, стрелять ночью не могу.

– Зачем же шел?

– Тебе скучно не будет.

Улукиткан уселся на шкуру, подобрал под себя ноги и, воткнув нос в варежку, задремал. Я дежурил, прильнув к просвету.

Время тянется медленно. Гаснет закат. Уплывают в темень нерасчесанные вершины лиственниц и мутные валы далеких гор. В ушах звон от морозной тишины. Мысли рвутся, расплываются... А волки не идут. Да и придут ли? Хочется размять уставшие ноги, а нельзя: зверь далеко учует шорох.

«Ху-ху-ху!» – упал сверху звук.

Я вздрогнул. Над логом пролетела сова, лениво разгребая крыльями воздух. Следом прошумел ветерок.

---

<sup>19</sup> Хаикта – волокна жимолости.

Пробудившийся старик, откинув голову, долго смотрит на звездное небо. Затем он бесшумно снимает рукавицы, прижимает к губам большие пальцы... И вдруг тишину прорезал протяжный вой. Его печально повторила тайга, и где-то далеко в ущелье, словно негодуя, пробормотали скалы. Улукиткан повторил волчью песню и настороженно прислушался к наступившей тишине.

Я был поражен, с каким искусством он копировал вой голодного волка.

Прошло минуты три томительного ожидания. И вот издалека случайный ветерок принес ответный протяжный вой.

– Хорошо смотри, обязательно придут, – шепчет мне старик. – Они думают, чужой волк пришел кушать их добычу: слышишь, как поет, шибко серчает!

Мой слух слишком неопытен, чтобы определить по вою настроение волка, но Улукиткан, видимо, обладает тонким восприятием, и тут, в тайге, нет для него тайн.

Ждем долго. Запоздалая луна осветила окрестность холодными лучами. Сон наваливается свинцовой тяжестью, голова падает...

Снова волчий вой разорвал тишину и расползся по морозной дали. Острый озноб пробежал по телу. Не поворачиваясь, я покосился на срез бугра, откуда донесся этот отвратительный звук. Там никого не видно.

Опять томительное ожидание. Наконец справа над логом появилась точка, но исчезла раньше, чем можно было рассмотреть ее.

Такая же точка появилась и исчезла слева, на голом склоне бугра. Видимо, звери разведывали местность. У падали они очень осторожны, даже голод бессилён заставить их торопиться.

Но вот до слуха донесся осторожный шорох. Из тени лиственницы выступил волк.

Освещенный луною, зверь долго стоит один вполборота ко мне. Его морда обращена в глубину ущелья, где расположен наш лагерь. Затем волк медленно повернул голову в противоположную сторону и, не взглянув на трупы, посмотрел через меня куда-то дальше. Бросив последний взгляд в пространство, он вдруг вытянулся и, слегка приподняв морду, завыл злобно и тоскливо.

Что это, тревога?.. Нет, он, кажется, зовет на пир свою стаю.

Еще минута – и из листвягов выступили, как тени, один за другим пять волков. Они выстроились по следу переднего и, поворачивая головы, осматривали лог...

Ничто не выдает наше присутствие.

Убедившись, что им не угрожает опасность, волки двинулись вперед, бесшумно ступая след в след. Остановятся и, поворачивая головы то в одну, то в другую сторону, обнюхивают воздух, прислушиваются. Они ничему не доверяют: ни ночи, ни кустам, ни даже трупам оленей. Все чаще смотрят вниз, где лагерь. Несколько бесшумных шагов – и снова остановка. Какая дьявольская осторожность!

А голод уже не в силах таиться, берет верх над зверем.

Вижу, матерый волк несколькими прыжками подскочил к трупу, но вдруг пугливо замер, повернув лобастую морду в мою сторону.

Заметил! Пора...

Вспыхнул огонек. Хлестнул раскатистый выстрел и эхом пронесся по логу.

Волк высоко подпрыгнул и в бессильной злобе схватил окровавленной пастью снег. Остальные бросились к листвягам. Я послал им вслед еще два патрона.

– Хорошо, шибко хорошо стреляй! – закричал старик и полез на борт промоины. – У, проклятый, кушай больше не хочешь?

Выстрел поднял на ноги жителей лагеря, там вспыхнул костер. Мы утащили волка к палаткам. Больше всех были удивлены собаки. Они впервые видели убитого волка, морщили носы, проявляя сдержанное пренебрежение.

Рано утром мы покинули негостеприимную стоянку. На утоптанном снегу остались брошенные нарты от погибших оленей и туша ободранного волка.

Наш маршрут теперь пойдет на север, по ущелью Купури.

Дни стояли солнечные, теплые. Ехали быстро. Весело перекликались бубенцы на передних оленях.

Ущелье все больше сужалось. Все ближе подступали к нему высокие горы, сбрасывая на дно лощин потоки камней и перегораживая ими реку. Мы пробирались, как в лабиринте, меж высоких стен. Хотя солнце и поднялось, но ущелье заполнял сумрак, кое-где прорезаемый полосами яркого света, прорвавшегося сверху. От россыпей, вечно холодных и угрюмых, веяло промозглой сыростью. Неприветливо в этой каменной щели. Хорошо еще, что попался лес и немного скрашивал мрачный пейзаж.

– Мо-од!.. Мо-од!.. – часто слышался подбадривающий окрик Улукиткана.

Олени, стуча копытами, легко бежали по льду, запорошенному снегом.

На второй день, когда солнце подкрадывалось к полдню, за очередным поворотом показался темный, как вечернее небо, лед, перехвативший бугром ущелье. Олени Улукиткана попытались выскочить наверх, но не удержались на крутом склоне и стали сползать. Они путались в упряжках, падали, вскакивали, бились головами об лед. Следом за ними скатывался и сам старик. Он быстро перебирал ногами, что-то кричал и беспомощно махал руками.

Мы бросились на помощь.

Темный лед тянется и дальше за поворотом. Он почти прозрачный и такой гладкий, будто его поверхности коснулась рука полировщика. Это наледь, но уже замерзшая. Ее вспучило буграми, порвало. Местами образовались глубокие трещины. Оленям по ней не пробраться, а обойти негде: справа – россыпь, слева – густой ельник, сбегаящий к наледи по крутому склону.

Мищенко отправился вперед искать проход, а мы общими силами поднимаем нарты на ледяную террасу и волоком вытаскиваем туда же оленей. Они совершенно беспомощны на льду.

– Нужно торопиться: вода идет, может затопить! – издали кричит Мищенко.

– Плохо, если вода. Очень плохо! – забеспокоился старик. – Как пойдем?

У всех на лицах растерянность.

«Кажется, начинается то самое, чего мы ожидали и боялись», – подумал я.

Перебираемся к ельнику и решаем прорубить в нем проход. Дружно стучат топоры. Узкая просека, обходя валежник, камни, петляет по темной чаще леса. На просеке лежит метровый снег, сыпучий, как песок. Почти три часа потратили на прокладку дороги.

Вернувшись к оленям, наскоро пьем чай, увязываем покрепче груз и трогаемся. Впереди на лыжах идет Улукиткан, ведя на длинном ремне пару лучших оленей, запряженных в порожнюю нарту, затем – нарты с легким грузом, потом и остальные.

– Ую-ю... ую-ю... – непрерывно слышится крик Улукиткана.

Вся тяжесть прокладки дороги ложится на переднюю пару оленей. Они по брюхо грузнут в снегу, продвигаются прыжками, сбивают друг друга, падают.

Беспрерывно слышится крик людей:

– Стой!.. Стой!..

То одни, то другие нарты переворачиваются на косогоре, цепляются за колодник, пни. Часто рвутся ремни. Идем все медленнее. Олени дышат тяжело. Падая, они уже не встают без понуканий.

Вечереет. Мороз сушит слегка размякший за день снег. Из щелей несет застойной сыростью. Стайки синиц торопливо летят в боковое ущелье – видно, на ночевку.

Мы на краю просеки. Впереди по льду ползет кисельной гущей снежница. Улукиткан устало опирается на посох, его глаза пытливым обшаривают ущелье.



– Сколько ни стой, наледь назад не пойдет, – говорит он и начинает тормозить оленей, которые вповалку лежат на снегу.

При взгляде на животных сжимается сердце: не верится, что они еще способны продолжать путь. Устали и люди, но задерживаться нельзя. Мы покидаем ельник.

«Что ждет нас за следующим поворотом? Где кончается наледь? Будет ли у нас сегодня ночевка?» – эти мысли беспокоят меня. Мы должны идти вперед, навстречу препятствиям – и с каждым днем их будет все больше и больше. Любой ценой нам нужно добраться до верховья Майи и разыскать там подразделение Лебедева, уехавшее на месяц раньше.

Олени, низко опустив головы, осторожно шлепают ногами по холодной воде. Скрипят размокшие лямки, шуршат полозья, прорезая снежницу. Нарты кренятся, исчезают в ямах, как лодка в волнах. Вода захлестывает груз, затягивает ледяной коркой ящики, тюки.

Идем очень медленно и тяжело. Луна запаздывает, в ущелье темно – ни гор, ни берегов не видно, будто все провалилось и осталась только почерневшая наледь.

Олени все чаще останавливаются передохнуть, но проводники энергичным криком заставляют уставших животных тянуть нарты дальше. У меня промокли унты, ноги мерзнут, встречный ветер обжигает лицо, нет сил терпеть, а конца пути так и не видно.

Но вот впереди посветлело. Между расступившимися отрогами обозначилась долина, заросшая лесом. Тут-то и закончилась наледь, вытекавшая из боковой ложины.

Мы выезжаем на сухой лед, радуемся – теперь, кажется, можно отдохнуть и погреться. Обоз останавливается на краю леса, в русле реки.

Распряженные олени не идут кормиться, они ложатся на лед. Улукиткан ласковым голосом поднимает их и угоняет в темноту.

Мы разжигаем костер, утапываем снег, ставим палатки. Хочется скорее выпить чаю, забраться в спальный мешок и уснуть. Каким сладостным бывает сон после такого физического напряжения!

Василий Николаевич Мищенко еще долго хлопочет. Он сделал подстилку собакам, настругал щепок, чтобы утром разжечь огонь, нарубил на завтрак мяса.

Какие-то неясные звуки доносятся из палатки проводников. Но скоро все стихает. Крепко спит тайга. Сонно мигают звезды.

Меня разбудил вой Бойки. И тотчас раздался голос Василия Николаевича:

– Поднимайтесь, вода!..

Вскакиваем. Геннадий зажигает свечку. Видим – снег в палатке потемнел, под печкой течет ручей. Быстро одеваемся, свертываем постели, собираем вещи. Василий Николаевич уже рубит лес.

– Нарты пропадай! – кричит Улукиткан, и слышно, как он чавкает ногами по размокшему снегу, кого-то ругает на своем языке.

За горами сочится рассвет. Густая наледь, прорвавшаяся по Купуринскому ущелью, грозной лавиной ползет через лагерь, прикрывая правым крылом боковое ущелье и отрезая нам путь к береговым возвышенностям. Олени остались где-то на противоположном берегу. Привязанные к кустам собаки визжат, взывая о помощи. Геннадий держит в руках батареи от радиации, не зная, куда их положить, – кругом вода.

Мы с Лихановым бросаемся на помощь Василию Николаевичу. Нужно немедленно спасти груз, иначе образовавшийся возле нас затор прорвется и унесет его вместе с нартами. Но вода уже так поднялась, что заликает за голенища сапог. Ноги коченеют. Делаем настил на четырех пнях и сообща перетаскиваем на него палатки, постели, собак.

...Уже день. Всех нас приютил настил. На веревке, протянутой над нами, висят мокрые постели, портянки, одежда. Груз свален горой. Василий Николаевич помешивает варево в котле, отбрасывая в воду накипь. Геннадий сушится. Он сидит в теплом белье, вытянув к

печке руки с мокрыми штанами. Его голова беспомощно клонится на грудь, штаны горят, но руки, словно закованные, продолжают держать их возле печки.

– Горишь! – кричит Мищенко.

Геннадий пробуждается, тычет штанину в воду меж бревен и засыпает.

Старики пьют чай. У каждого из них эмалированный чайник. Заваривают крепко, дочерна, и пьют только свежий.

Ко мне подошла Бойка.

– Что, собака, жаловаться пришла? Или непогоду чуешь?

Умное животное ластится и печальными глазами смотрит на меня.

Наледь пухнет и жидким тестом расплзается по ущелью.

На крутом правобережном склоне пасутся олени. Куда-то на кормежку летят стайки мелких птиц.

– Я думаю, наше дело хорошо, – говорит Улукиткан, – вода близко, мясо варим, чай пьем, работа нет, все равно что бурундук в норе, – громко смеется.

Он за свою долгую жизнь, вероятно, не раз отсиживался в наледи, боролся с пургой и попадал в более сложную обстановку. Жизнь приучила его ничему не удивляться.

...День проходит удивительно скучно.

Наконец солнце падает за высокий хребет. Пламень в печке перебирает сушник. Каждый погружен в свои думы. Тоскливо, оттого что ограничены движения, мысли прикованы к этой проклятой наледи, преградившей нам путь.

По ущелью разливается густой сумрак, окутывая осыпающиеся скалы седой дымкой. Одиноким огоньком загорелась на юге звезда. Потянула холодная низовка. Ночь прикрыла ущелье. Мы сидим вокруг накалившейся докрасна печки.

Улукиткан затянул жалобную эвенкийскую песню. Ему, видно, не вмоготу томительное молчание, и он тянет свою песню долго, однообразно, на одной ноте, перебирая высохшими губами непонятные нам слова.

– О чем ты поешь, Улукиткан? – спрашиваю его.

– Эко не знаешь! Эвенкийской песни постоянный слова нету, каждый раз новый. Что сердце чувствует, что глаз видит, что ухо слышит, о том поет.

Укладываемся спать. Проводники располагаются возле печки, Мищенко и Геннадий зарываются между тюками, а я забираюсь в спальный мешок и, скорчившись между собаками и крайними бревнами настила, пытаюсь, но не могу уснуть.

На голову текут бледные лучи звезд. Звезд становится все больше, они горят все ярче, словно торопятся воспользоваться темнотой до появления луны. Черные силуэты скал, похожие на древних старцев, склонились над нашей стоянкой. Все сковано холодным дыханием северной ночи. Тихо. Только наледь бурчит, лениво переваливаясь по колоднику, да в лесу рождаются глухие стоны, и тогда кажется, что кто-то бесшумно бродит возле настила.

Утром всех нас будит Улукиткан:

– Наледь кончилась, олень сам сюда идет.

Я пока ничего не вижу, но слух улавливает мелодичные звуки, просачивающиеся сквозь лес. Это бубенцы на оленях мирно перекликаются в утренней тишине.

Вода где-то выше нашей стоянки промыла проход и ушла в русло, оставив после себя нетолстую корку ноздреватого льда.

Один за другим появляются олени. Улукиткан достает из потки замшевую сумочку величиной с варежку, с прикрепленными по краям когтями медведя, рыси и белохвостого орлана. Он трясет ею в воздухе, и когти, ударяясь друг о дружку, издают дребезжащий звук. Услышав его, животные бросаются к настилу, лезут наверх, вытягивают черноглазые морды. Старик щепотками достает из сумочки соль, кладет под губу каждому оленю и, улыбаясь, что-то шепотом рассказывает им на своем языке.

Василий Николаевич возится у печки – готовит завтрак. Остальные берутся за топоры, вырубая из-под льда нарты, очищают полозья и укладывают груз. У всех одно желание: скорее бы вырваться из этой западни!

Через два часа мы готовы продолжать путь. Улукиткан по-хозяйски проверяет упряжки на оленях и грустным взглядом осматривает ущелье, словно впереди, за крутым поворотом, нас ожидает еще большая неприятность.

– Однако, надо скоро ходи, сколько сила олень хватит: близко корма нет, – говорит старик, выводя пару оленей. За ними выстраиваются остальные. На месте стоянки, среди заиндевевших елей и скал, остаются настил да надпись на свежем пне о нашей вынужденной стоянке.

Олени дружно бегут вперед, и снова мы слышим подбадривающий голос Улукиткана:

– Мод... мод... мод...

Наш путь, как и два дня назад, идет по дну Купуринского ущелья, сдавленного цепью полуразрушенных гор. Уж очень мертво и тесно в этой щели! Но скоро нагрянут потоки горных вод, взревет пробудившиеся пороги, обдавая густой пеной валуны и черные скалы, еще неприветливей станет в ущелье от несмолкаемого рева разбушевавшейся реки. Но сейчас здесь спокойно. Весело заливаются бубенцы на передних упряжках. Дружно стучат копытами олени. Поют полозья. Кажется, ничто не омрачает сегодняшний день.

Улукиткан, однако, с беспокойством поглядывает на горы и все настойчивее поторапливает оленей. Когда животные, устав, замедляют ход, он соскакивает с нарт и бежит рядом с ними, мелко перебирая ногами по льду. «Надо скоро ходи, сколько сила олень хватит», – вспоминаю я его слова.

А погода неожиданно изменилась. Вихрем врывается в ущелье ветер, мешает движению оленей.

Теперь едем по замерзшей наледи шагом. Чем выше поднимаемся, тем тоньше становится лед, прикрывающий пустоту, образовавшуюся после исчезновения воды. Олени и нарты начинают проваливаться. Караван разорвался, участились остановки. Ноги передних оленей стали кровоточить.

– До корма далеко? – спрашиваю я Улукиткана на одной из остановок.

– Далеко... Эко худой дорога! Однако, не дойдем.

Он устало присаживается на корточки возле нарт. Олени топчутся на месте, намереваясь лечь, но под ногами drobный лед.

– Может, передохнем часа два?

– Отдыхай не могу, сегодня тут ходи худо, а завтра совсем не пройдем, – отвечает Улукиткан, вскакивая, словно пробуждаясь от дремоты.

Он лучше нас знает цену времени и, наверно, не раз за час промедления расплачивался сутками. Только этим и можно объяснить пренебрежение старика к своей усталости.

Подтягиваем отставшие нарты, просматриваем груз и трогаемся дальше. Проводники ведут оленей, а мы на лыжах проламываем лед. Уже скоро и день на исходе, а вокруг все одна и та же картина: за поворотом – поворот, за россыпью – россыпь, под ногами – хрупкий лед.

След обоза залит кровью из ран на ногах оленей. Нужно бы остановиться, дать им передышку, но место неудобное: справа и слева россыпь. Бедные животные! Только преданность человеку может заставить их идти дальше.

Впереди, километрах в полутора, виден черный лоскут низкорослого ельника, растущего по карнизам невысокой скалы. Решаем любой ценой пробиться до него.

Сумрак быстро окутывает ущелье. В темноте теряется ельник. Над нами медленно ползет туман, цепляясь за уступы и камни. Путь кажется невероятно тяжелым. Одежда на нас промокла и обледенела. Голод мучает всех. Жаль и людей и оленей, но нужно идти. Там, возле ельника, мы рассчитываем обсушиться и дать передышку животным. Из каких-то неведомых источников вливается в уставший организм крохотными долями сила. И мы идем.

Последний отрезок сегодняшнего пути проходим в полной темноте. Цепочка разорвалась. Василий Николаевич подрубает лед, ломает и крушит его лыжами. Мы с Геннадием помогаем оленям протаскивать нарты. Сзади слышится крик и ругань обычно очень спокойного Улукиткана. Лиханов где-то отстал.

И вот давно уже ночь. С черных уступов гор валится густой туман, закрывая беловатыми глыбами проход. Дует ледяной ветер. Я подставляю ветру то плечо, то спину и чувствую, как он впивается в меня, запуская холодное жало под самое сердце.

В памяти уже не осталось ни времени, ни места. Кажется, все умерло, не будет ельника, не появится больше солнце, никогда не кончится этот мучительный путь и мы все вместе с оленями обречены вечно тащить нарты.

– Ого-го... – прорвался из темноты голос Улукиткана.

«Какая еще беда стряслась?» – подумал я.

Караван задержался. Усилием воли заставляю себя вернуться к старику. Бреду по обломкам льда, спотыкаюсь. Ничего не видно, ноги застыли и плохо повинуются.

Улукиткан, услышав шаги, говорит чужим, уставшим голосом:

– Олень дальше ходить не могут, все упал, надо нарты бросать...

Зажигаю спичку. Животные лежат на промятой борозде, в лужицах крови. С трудом ставим их на ноги, развязываем упряжные ремни и уводим в темноту.

И снова слышатся хруст льда под ногами оленей, крик, понуканье, угрозы.

Наконец-то нам удастся добраться до ельника.

На небольшой площадке под скалой разводим костер. Вспыхнувшее пламя освещает безрадостную картину: на кромке льда вповалку лежат олени, сложив как-то по-детски друг на друга ноги, головы, там же виднеется трое заледеневших нарт – лишь их нам удалось дотащить до ельника.

Костер окружают усталые, осунувшиеся люди. Близко прижавшись к костру, крепко спят старики. Василий Николаевич и Геннадий беспрерывно ворочаются, отбиваются от наседающего с внешней стороны холода. Мокрая одежда у всех парится.

Я дежурю. На моей обязанности – поддерживать огонь и следить, чтобы у спящих не загорелась одежда. Сон наваливается непосильной тяжестью, глаза смыкаются. В глубине кармана нахожу давно забытый сухарь, очищаю его от мелкого мусора и ем крошечными кусочками. Как это вкусно! И пока грызу сухарь, сон щадит меня.

Кажется странным, что где-то далеко-далеко, за пределами мрачного ущелья, люди живут в спокойствии, страдают бессонницей, едят строго по расписанию, не преодолевают усталости, налегая, не боятся бурь...

Что же заставляет нас отказаться от удобств, что толкает в этот холодный, неустроенный край, где еще властвует над человеком дикая природа, где почти каждый шаг требует упорства, борьбы? Жажда исследования?

Да! Исследователю не приходится задумываться над тем, какой ценой ему придется заплатить даже за первые крохи открытий. Но зато какое счастье видеть с вершины горы побежденное пространство с обнаженными долинами, с ясным контуром лесов, со сложным рисунком изорванных отрогов! Как радостно, стоя на покоренной вершине неизвестного хребта, дышать холодным воздухом, навеванным из цирков, лежащих далеко внизу, любоваться необозримой далью!

...Проснулись на другой день поздно.

Ветер рвет в клочья край черной тучи, поднимает с земли столбы снежной пыли. Мышцы, спина болят, словно после кулачного боя, но достаточно нескольких движений, куска отваренного мяса и чая с горячей лепешкой, чтобы мы забыли об этом.

Только Улукиткан ест плохо. Он осунулся, почернел, однако и теперь не теряет бодрости духа.

– Ленивому человеку – сон, оленю – ягель, нам бы – сухую тропу, – шепчет он, заворачивая ногу в портянку.

Мы подтаскиваем к стоянке брошенные ночью нарты, чиним их, укладываем груз, поднимаем изнуренных оленей. На них жалко смотреть! Они с трудом передвигают израненные ноги, безропотно подчиняясь проводникам. Два оленя не могут встать совсем, их ляжки в крови. Я понял, что вести этих оленей дальше уже нет смысла.

Улукиткан осмотрел обессиленных животных, ощупал их бока, заглянул в глаза и снял уздечки. Он заботливо приставил освободившуюся нарту к скале.

– Другой люди когда-нибудь тут ходи – возьмут ее. Человек не должен свой труд зря бросать, – ответил он на мой недоумевающий взгляд.

В десять часов обоз тронулся дальше.

Брошенные олени вдруг встали, повернули головы и долго смотрели нам вслед. В моей памяти навсегда запечатлелась эта картина: край скалы с низкорослым ельником, дым догорающего костра и два обреченных оленя, наблюдающих за удаляющимся караваном.

Ломкой бороздой по льду Купури тянется след груженных нарт. Скорбно поют полозья, им уныло вторят бубенцы на передней упряжке. Сгорбились костлявые спины оленей. Вот уже сутки, как животные ничего не ели. Одни из них окончательно ослабели, еле тащатся на поводных ремнях, на других легла двойная тяжесть нарт. Из открытых ртов свисают красными лоскутами языки. Уши обвисли. В глазах безнадежность. Малейший подъем теперь кажется горой. Никто не кричит на оленей, чуть остановка – мы все разом впрягаемся в нарты и тащим их сами.

Уже давно рассеялся туман. В лучах поднявшегося солнца купаются вершины плоских гор, а мы все еще не можем добраться до первого поворота.

– Ходить надо, еще ходить, дальше корм есть, там будем остановку делать, – говорит Улукиткан, хмуро поглядывая на оленей.

Идем... А день в разгаре. С неба сочится теплынь. В легкую дымку кутаются утесы нависших отрогов.

За поворотом справа виден широкий распадок. Впереди что-то смутно чернеет по руслу, надвигаясь на нас.

– Опять большой наледь ползет, как пойдём? – восклицает Улукиткан.

С распадка налетел ветерок. Он, вероятно, принес запах мха, ягеля, и олени, не ожидая команды, поворачивают навстречу ветру. Мы без сговора следуем за ними.

Стоянкой расположились на высоком берегу. Освобожденные олени тычут мордой по уши в снег, ищут корм и, пожевав немного, ложатся отдыхать. А наледь уже накрыла наш след и со зловещим шипеньем ползет густым тестом дальше по реке.

Людской говор, стук топоров да жаркий костер пробудили распадок. Улукиткан печальными глазами смотрит на оленей и мнет бороденку.

Над тайгой, каркая, летит ворон. Старик оглядывается и сосредоточенно следит за птицей.

– У-у, проклятый, каркаешь! – бросает он вслед.

– Чего сердиться? Чем ворон виноват? – спрашивает Мищенко.

– Разве не знаешь? Она худой птица, шибко худой! Чужому горю радуется.

На обветренном лице старика застыла тревога. Он прислушивается к шелесту наледи, поднимает голову и, шуря глаза от солнца, всматривается в зубчатый горизонт. Потом долго говорит шепотом с Лихановым, вторым проводником, и что-то чертит концом палки на снегу. За обедом старик вдруг объявляет:

– Однако, наледь может долго не пустить нас, надо стараться искать другой дорога.

– Куда же пойдём? – спрашиваю я. – Кругом снег, горы, тайга.

– Вот и я думаю, как попадать будем на Маю? Хребет должен близко, да никто не знает, есть-нет перевал на ту сторону. Ходить туда надо, хорошо смотреть. Ты как думаешь?

– Ты проводник, тебе и аргал<sup>20</sup> в руки. Завтра можно разведать. Кто пойдет?

– Однако, я, – говорит Улукиткан. – Лиханов тут останется: надо узды, лямки починить, нарты просмотреть, лепешек напечь. Ты пойдешь со мной?

– Пойду, если возьмешь.

– Хорошо, рано утром будить буду.

Мы разгрузили нарты, собрали упряжь, развесили на солнце одежду, постели. Млела тайга, оваянная теплым ветром, вылуплялись из таявшего снега грани черных скал. Казалось, вот сейчас защелкает глухарь, выползет из берлоги батушка медведь, полетят на север угловатые стрелы быстрокрылых птиц. Но природа не раз обманывала нас мартовским ветерком, и мы сейчас недоверчиво прислушиваемся к шелесту крон многоярусных елей, к стуку дятла, шороху оседающего снега. Тут еще зима.

Олени, поднявшись с лежбищ, лениво потягиваются и один за другим уходят в тайгу. День кончился. Через час погас костер, и на лагерь легла темная ночь.

С вечера я подготовил продукты, лыжи, карабин.

Улукиткан хочет взять с собой трех оленей.

– Тепло стало, лес потемнел, – говорит он, – снег будет, а то и пурга. Боюсь, задержимся, надо постели брать.

– Разве надолго пойдем?

– Кто знает. Может, не скоро перевал найдем или зверь попадет, далеко уведет, – ответил он, не отрываясь от работы.

Вспугнутой птицей пролетела ночь. Обжигая лицо, тянет предрассветный ветерок. Нас провожают недоуменным взглядом привязанные Бойка и Кучум. Мы идем вверх по распадку, навстречу утренней заре. Впереди Улукиткан в старенькой латаной дошке, с пальмой в руке, с берданой на левом плече. Он ведет на длинном поводке трех оленей с легкими вьюками и, горбя спину, месит широкими лыжами снег, а легким взмахом пальмы рассекает запушенную изморозью чащу.

Светлеет холодная просинь неба. На ослепительной белизне зимнего покрова ночные хищники оставили следы разбойничьих набегов. Вот вдоль колоды, едва касаясь снега, прошмыгнул ловкий соболь. У края он приподнялся на пень, выглянул, затем вернулся, обошел колоду, прополз на животе до сугроба... Два-три прыжка – и у кровавой лунки осталась куча куропаточьих перьев. Позже следом соболя сюда прибежал голодный колонок. Зверек порылся в перьях, слизал со снега кровавую накипь и, испуганный рассветом, ушел в свое скрытое убежище. Но, уходя, он не забыл зарыть под валежину несъедобное крыло.

Солнце, поднявшись высоко, греет тайгу. У горизонта копятся тучи. Олени дышат тяжело, идут рывками.

Лес редет. Наплывает крутизна ближних отрогов.

Наш путь пересекло небольшое стадо сокжоев<sup>21</sup>. Улукиткан голой рукой ощупал след старого быка, дважды проткнул его пальцем и, склонив тощую грудь на рукоятку пальмы, смотрит прищуренными глазами в сторону ушедшего стада.

– Недавно прошли – след не пристыл. Голодные, где-то близко жируют.

– Почему ты думаешь, что они голодные? – спросил я.

Старик удивленно посмотрел на меня:

– Глаза есть, а слепой! Смотри хорошо: зверь мордами тыкал снег – корм искал; значит, правда голодный.

---

<sup>20</sup> Аргал – длинная палка, которой управляют упряжными оленями.

<sup>21</sup> Сокжой – дикий северный олень.

Распадок сузился, завернул влево, и мы стали подниматься по крутому бесснежному гребешку. Неожиданно поднялась в воздух стая куропаток и белыми хлопьями пронеслась над перешейком.

– Однако, тут перевал в другую речку, – сказал старик, наблюдая за удаляющейся стаей птиц.

– Если это перевал, хорошо: тут можно на нартах подняться, – говорю я.

Улукиткан повел плечами.

– Выйдем наверх, смотреть будем, – может, правда, хорошо попали. Только почему эвенки тут раньше не ходили? – раздумчиво говорит он и смотрит на небо, уже затянутое взлохмаченными тучами.

Берем последний подъем по надувному снегу. Горячий пар окутывает морды оленей, на скулах старика размякла загорелая кожа, распахнулась дошка, и грязный, липкий пот слепит ему глаза. Но вот переломилась крутизна – и мы на перешейке. За ним скалистый склон и глубокая падь, убегаящая на юг. А дальше белеют купола гор и ремни плоских хребтов. Беглым взглядом Улукиткан окинул простор и вдруг помрачнел.

– Тут не пройти, перевал там, за падью, – и замахал рукой в сторону хребта.

Улукиткан присел на корточки и стал торопливо затягивать ремешками свою дошку на груди.

– Что же делать будем? Непогода идет. Может, спустимся в падь и там заночуем? – спрашиваю я, вздрагивая от озноба.

– Что ты! Ходить туда нельзя, худое место.

– Почему?

Улукиткан смотрит вниз на выкрой стылых болот, на сутулые отроги, прикрытые темными пятнами листовенничной тайги. О чем-то печальном напомнила ему падь.

– Место узнаю, – сказал он, помолчав немного. – Видишь, возле сопки ельник? На краю его сын младший похоронен. Медведя в берлоге добывал с товарищем. Ружьишко плохое было – кремневка. Собаки подняли зверя, а ружье не вспалило, обсеклось. Насел медведь на парня, а он понадеялся на товарища, да напрасно. Оробел тот, сбежал, как пакостливая россомаха, а собаки молодые были – не отстояли. Очнулся сын: один, глаз нет, ноги помяты, зима. Полез по снегу, все думал – товарищ вернется, да так и не дождался... Худой люди есть!.. – гневно добавил старик. – Бросать товарища в беде – все равно что убить его, даже хуже!.. Нашел я сына после и там, у ельника, похоронил... Не поедем тут, сердцу больно. Нехорошо и покойника беспокоить.

Улукиткан поднял конец поводного ремня и потянул след на север по отрогу. Шел не оглядываясь, торопливо, как олень от выжженных мест. Только за сопкой, когда не стало видно ни пади, ни плоских гор, он остановился, поправил вьюки на спинах оленей и в раздумье, куда идти, окинул взглядом местность.

Слева в долине чернела гарь. Впереди, сквозь непогоду, маячили далекие хребты. А справа, на широкую седловину, выткнулся малорослый осинник с черным на середине пятном, напоминающим вывернутый корень. Улукиткан насторожился и, не отрывая глаз от осинника, на ощупь отвязал бердану от вьюка. Вдруг он согнулся, стал боком пятиться назад к пригорку, таща за собою животных. Я, не понимая, в чем дело, тоже пригнулся и последовал за ним.

– Сохатый! – произнес он, весь загораясь.

Вмиг слетела с Улукиткана печаль, забыт покойник. Куда девалась старость, боль в сгорбленной спине! С ловкостью юноши он сбросил с переднего оленя вьюк, достал из кармана затвор, завернутый в тряпочку, и, зарядив бердану, повел оленя на пригорок. А мне серьезно пригрозил пальцем, как непослушному мальчишке: дескать, не выглядывай, не спугни зверя.

Но кто мог вытерпеть, чтобы не подсмотреть, зачем он взял с собой оленя и как он будет с ним скрадывать сохатого! Я достаю из потки бинокль, поднимаюсь на пригорок, осторожно выглядываю. Сохатый все там же, в чаще. Я вижу его широкую грудь. Вот он поднял неуклюжую, громадную голову и ломает толстыми губами осинник, но вдруг, словно ужаленный, встревожился, торчком поставил срезанные вкось уши.

Где же Улукиткан? Я вижу только оленя – он медленно шагает, как бы намереваясь обойти зверя слева. Сохатый пугливо выскакивает из осинника. В его позе растерянность. Два-три прыжка, и он останавливается, видимо, не может понять, кто это ходит.

Где же действительно старик? Почему он не стреляет? Меня начинает охватывать тревога: зверь уйдет!

А олень замедляет шаги, останавливается, и я вижу, как из-под него появляется горб старика, просовывается вперед ствол берданы. На несколько секунд все замирают: и сохатый, и Улукиткан, и олень. Кажется, даже тучи прекратили свой бег. Но вот в стылой тишине тяжело грохнул выстрел. Пугающий звук расползся по горам. Сохатый упал в снег.

Улукиткан не подошел к убитому зверю, словно и не было выстрела. Он уселся на снег, вытащил ножом из берданы пустую гильзу, завернул затвор в тряпочку и опустил его глубоко в карман. Затем не торопясь он достал из шапки иголку с ниткой и стал пришивать к дошке оторвавшуюся завязку. «Какое равнодушие!» – подумал я, наблюдая за стариком.

Но вот он встал и, горбя старчески спину, вернулся с оленем к пригорку.

– Удача нам с тобой: и зверь большой и место хорошее таскать мясо. Не часто так бывает. Ты кушаешь печенку? – вдруг спросил он и, не дождавшись ответа, добавил: – Сырой печенка хорошо, шибко хорошо! Сейчас обедаем и ночевку искать будем.

Мы взвалили на оленя вьючок и пошли к убитому зверю.

Но его на месте не оказалось.

– Как так – и шкура и печенка совсем ушли?! – сокрушался старик.

Мы подошли к лунке, где был свален пулей сохатый. От нее по снегу шел кровавый след. Зверь уходил по крутому склону в падь и был от нас метрах в трехстах.

Улукиткана снова не узнать. Тут уж некогда доставать из кармана затвор, искать в под-сумке патрон без осечки. Второпях он даже забыл перекинуть через плечо бердану. Несколько секунд – и из-под широких камусных лыж старика легкой пылью взвихрился снег. В левой руке у него пальма, в правой ременный аркан – маут. Пригибаясь почти до земли и подавшись вперед, он птицей понесся за зверем.

Сохатый, почуяв погоню, пугливо шарахнулся в сторону, бросая тяжелое тело вперед, разгребая грудью метровый снег. Какую-то долю минуты Улукиткан и зверь мчатся рядом. Но вот над головою сохатого кругами взметнулся аркан, и на короткой шее захлестнулась петля. Старик подтягивается на ремне ближе, и оба со страшной скоростью катятся вниз. Блеснула пальма, сохатый торчмя зарылся в снег, и в облаке поднявшейся пыли мелькнули широкие лыжи старика.

Меня не без основания охватила тревога за жизнь проводника. Много ли нужно старику? Споткнись он на бегу, упади – и не заметишь, как из его тщедушного тела выскользнет жизнь. Я сбросил с оленей вьюки и, дав волю лыжам, вихрем скатился к Улукиткану.

Он лежал в глубокой яме, выбитой в снегу при падении. Лыжи сломаны, вязки на дошке оторвались, шапка скатилась далеко вниз. Старик стонал. На его лице – нестерпимая боль.

Я бросился к нему, ощупываю ноги, руки...

– Говорил, худое место, – процедил он сквозь сжатые зубы.

У Улукиткана вывих левой ключицы. Я хватаю его руку и сильным рывком пытаюсь вправить ее на место. Пока не удастся эта операция, старик неистово кричит.

Пытаюсь его поднять, но, увы, ходившие восемьдесят лет по земле ноги отказываются служить: одна сильно ушиблена, у другой, видимо, растяжение сухожилия.



Что же делать? Куда идти? По вершинам туповерхих гольцов уже завывает неумолимый буран, а по седловине колючий ветер перебивает сыпучий снег. Мимо нас в падь торопливо проносится стая белых куропаток. Вечер темнит и без того мрачное небо. Нет времени для раздумья. Вспоминаю, что наверху остались олени.

– Худое тут место, надо уходить, обмануть смерть. Только как пойдешь? Может, мне остаться тут? – говорит он спокойно и смотрит на меня усталыми глазами.

«Бросить товарища в беде – все равно что убить его, даже хуже», – вспомнились слова старика. Я подбадриваю его:

– Дойдем, не так уж далеко.

Кормлю Улукиткана теплой печенкой, растираю ему ушибленную ногу, потом ем немного сам, с неприятным предчувствием прислушиваюсь к разыгравшейся непогоде. Со страхом думаю, как вытащить беспомощного проводника на седловину. Там спальный мешок, две шкуры, потники, – возможно, спасемся.

Я поднимаю Улукиткана, натягиваю на его голову ушанку, перехватываю дошку маутом. Старик с трудом становится на одну ногу, второй припадает на носок. Отдаю ему свои лыжи, и мы покидаем «худое место».

Старик с трудом толкает лыжи вперед, тяжело стонет и часто приседает. Я бреду по снегу, придерживая его со спины. Резкий ветер слепит глаза, заползает под одежду и холодными щупальцами впивается в тело.

Старик явно слабеет, он виснет на моем плече. Идти становится все труднее. Я оглядываюсь – почти ничего не пройдено.

– Тебе плохо, Улукиткан?

– Плохо, нога совсем не слушает, а ходить надо; пусть смерть не подумает, что тут ей пожива есть, – говорит он и, стиснув челюсти, переставляет крошечными шажками лыжи.

Только бы не потерять способность ориентироваться в обстановке!

Иду сзади Улукиткана, меж широко раздвинутых лыж, придерживая его обессиленное тело. Увязая в снегу по колено и глубже.

Осинник уже близко. А вокруг по-зимнему злится пурга. Надвигается темень.

Я падаю в изнеможении, но сейчас же поднимаюсь, охваченный недобрым предчувствием, иду дальше – иду потому, что хочу жить, и слышу, как под старенькой, латаной дошкой проводника в щупленьком теле также бьется жизнь. «Еще немного, а там и верх», – проносится в голове.

Мы идем, идем долго, и все-таки ценой безмерного физического напряжения нам удастся выбраться наверх.

Улукиткан прикрывает лицо накрест сложенными руками. Валится на снег. Оленей нет, они ушли, связанные друг с дружкой поводными ремнями. Да и не до них сейчас! Где и как спастись от непогоды без костра, на гладкой снежной седловине? Бегу к осиннику, нахожу колоду, разгребаю под ней снег, перетаскиваю туда вещи.

А над стариком пурга уже насыпает снежный курган...

Но жизнь не сдастся. Улукиткан поднимается и, преодолевая мучительную боль, бредет к осиннику. Я стаскиваю с него унты, дошку и заталкиваю его в спальный мешок. Набрасываю поверх две шкуры, потники, брезент и тоже залезаю к нему в спальный мешок. Буран, словно потеряв жертву, злобно мечется над нами.

В спальном мешке тесно. Я слышу, как спокойно бьется сердце старика, как все еще вздрагивает его худенькое тело. Но он уже не стонет, и моя тревога утихает.

Какое блаженство – тепло! После только что пережитых минут и наше тесное ложе под колодой в снегу кажется роскошным. Верно, счастья без горя не бывает.

Улукиткан долго ворочается, что-то достает из кармана.

– Лепешку хочешь? Надо хорошо кушать, потом не пропадешь, – говорит он, просовывая ко мне руку.

Жуем молча.

В мешке душно. Хочу забыться, уснуть, но не могу – страшно при мысли, что это, может быть, последний сон. Хоть мы и укрылись от непогоды, но опасность замерзнуть еще витает над нами.

Все тяжелее становится засыпающий нас снег. словно из подземелья, доносится протяжный гул – это мечется не в меру разыгравшаяся пурга по обледенелым вершинам Джугдыра.

– Как думаешь, Улукиткан, мы еще увидим день? – спрашиваю я осторожно, скрывая тревогу.

– Человеку даны глаза, но они не видят, что делается за горой. Зачем было мне стрелять зверя, если бы я знал, что так плохо получится! – ответил старик.

Ночь тянется как вечность. Поет, злится пурга, насыпая сугробы. А мы счастливы и оттого, что тепло, и оттого, что не нужно месить ногами снег, подставлять лицо беспощадному ветру.

Кто знает, как долго мы находились в забытии... Наступил ли день или все еще продолжается ночь?

Буран, не ослабевая, воеет над седловиной. Стужа нашла нас и под ворохом теплой одежды. Чувствую, как леденеют ступни ног, стынут колени и холод медленно, неумолимо подбирается к сердцу. Кровь отступает внутрь и уже слабо пульсирует в конечностях.

«Неужели конец?»

Пораженный этой страшной мыслью, я почти физически ощущаю грань между жизнью и смертью. Усилием воли гоню прочь безразличие.

– Улукиткан, ты слышишь? Уходить надо, иначе пропадем.

– Обязательно ходить надо, смерть ищет нас, только нога совсем опухла, все равно что дерево стал.

– Ничего, помаленьку доберемся до тайги, разведем костер, согреемся, – подбадриваю я старика, а сам с ужасом думаю, как далеко от нас лес и огонь и как же я понесу старика...

Пытаюсь приподняться и не могу – над нами могильный сугроб.

– Кто там ходит, или мое ухо обманывает? – шепчет тревожно старик.

Прислушиваюсь. Жду. Скрипнул снег под чьими-то шагами.

– Однако, смерть наболтала, что мы умерли, – хищник пришел проверять, – снова говорит старик.

Кто может бродить по седловине в такой страшный буран? Что ему здесь нужно?..

Снова скрип снега, и невидимое нам существо начинает разгребать сугроб над нашим изголовьем.

– У, проклятый, уходи, а то встану – шкуру выверну! – грозит Улукиткан.

Тишина.

Но вот снова заработали лапы. Уже слышно прерывистое дыхание. «Неужели медведь?» – мелькнуло в голове, и стало не по себе от этой близости. А в мешке как в гробу: не повернуться, невозможно вытащить нож, да и что с ним сделаешь в этой тесноте!

– Э-э! – вдруг протянул облегченно старик. – Однако, это Бойка с Кучумом. Люди нас ищут!

Я, с трудом приподнявшись, сбрасываю с мешка одежду, высовываю из снега голову. Дневной свет слепит глаза. Собаки бросаются ко мне, лижут лицо, радуются, и вместе с ними по-детски радуюсь я.

С края седловины доносится выстрел. Пока одеваюсь, из мутной снежной завесы появляются проводник Лиханов и Василий Николаевич. На поводу у них небольшая связка оленей.

Мне хочется обнять собак, прижать их к себе, дать почувствовать свою любовь к ним, но так холодно, что даже на минуту нельзя оставаться без движения.

Я не спрашиваю товарищей, как они догадались о нашей беде, в голове одна мысль: бежать от этого «худого места», и как можно скорее.

Мы освобождаем Улукиткана из мешка, натягиваем на его застывшее тело фуфайку и дошку. Идти он не может: нога так распухла, что не помещается в меховом чулке. Мы заматываем ее в теплое, связываем две широкие лыжи, усаживаем на них Улукиткана и уходим в буран. Лиханов задерживается, выучит оленей и догоняет нас на спуске в распадок.

У кромки леса мы остановились, разожгли костер. Только тот, кто испытал на себе смертоносную силу северных ветров, кто боролся с пургой, стужей, может понять, каким для нас счастьем был сейчас огонь! Улукиткан, распустив вязки на дошке, полной грудью глотал теплый воздух. Он смотрел на огонь и радовался, словно ребенок, впервые увидевший нарядную игрушку.

Меж тем Василий Николаевич рассказывал:

– Утром рано в лагерь пришли связанные олени. Ну, думаем, не иначе – беда стряслась с нашими, и решили с Лихановым идти искать. А погода, как назло, не унимается, света белого не видно. Вышли на хребет – ни следа, ни примет, все замело. Мы и кричали и стреляли... Если бы не собаки – ни за что не нашли бы.

Ко мне подошла Бойка и смотрит упрямо в лицо, как бы старается разгадать мои мысли. Я подтаскиваю ее к себе, обнимаю, и мне почему-то вдруг становится неловко перед этим существом за то, что мы часто не ценим по-настоящему его преданности и само слово «собака» произносим иногда с презрением.

...К вечеру мы были в лагере на берегу Купури. Стужа выморозила наледь на реке, и мы могли беспрепятственно продолжать свой путь.

Утром съездили за мясом, а за это время прекратилась пурга. Унеслись в неведомую даль тучи, небо сияло прозрачной голубизной. Лес, исхлестанный ветром, выпрямился и тянулся к солнцу. На склон горы вышли олени, за реку на кормежку летели крикливые кедровки. Бойка заботливо ловила блох в черной шубе Кучума.

Во второй половине дня караван тронулся дальше вверх по Купури. Улукиткан чувствовал себя лучше, но ходить еще не мог. Для него освободили нарту, и он ехал позади обоза.

### III

Потребовалось еще шесть суток, чтобы преодолеть последние двадцать пять километров расстояния до перевала.

К концу дня тридцать первого марта совершенно обессиленный караван добрался до одной из разложин реки Купури. На последнем отрезке пути пришлось бросить часть груза и трех оленей.

Наконец-то коварное ущелье осталось позади! Над нами раскинулось голубым шатром небо. Горы расступились и широкой панорамой окружили стоянку. Вокруг стало светло и просторно.

Лагерь разбили на краю леса, у подножия Джугдырского хребта. На жарком костре варили мясо.

Вечерело. Солнце краем выглянуло из-за сопки и скрылось, озарив своими лучами крутой склон перевала. В стылой дали мутнели отроги.

– Надо ужинать, – говорит Василий Николаевич и кричит проводникам: – Деда, зайдите на минуточку, есть разговор!

Неохота покидать костер. Хорошо возле него, тепло, уютно. Смотришь, как огонь съедает сушник, как в синем пламени плавятся угли, и все тело охватывает ощущение такого блаженного покоя, что не хочется даже рукой шевельнуть.

В палатке жарко. На высоком колышке горит свеча.

– Ужин остынет, – напоминает Василий Николаевич. Пришли старики.

– Птица затишья ищет – непогоду чует. Однако, буран будет, – говорит Улукиткан, пробираясь на свое место, в дальний угол палатки.

– Одну беду миновали, другая не пройдет мимо. Тронься мы дня на три раньше, проехали бы без помех, – говорит Геннадий, разливая по чашкам горячий суп.

– Тоже правда, запоздали, – отвечает Улукиткан. – Люди часто про время забывают. Посмотри, как в тайге: зима еще не пришла, а зверь уже тепло оделся; на озере еще льда нет, а птица давно откочевала...

– Вы зачем кружки принесли? – спрашивает Василий Николаевич стариков.

– Ты звал поговорить, а без вина разговора не бывает. Пришли со своей посудой, – ответил Лиханов, откровенно взглянув на него.

– Спирта нет, – решительно заявляет Василий Николаевич.

– Есть, – говорит проводник и вкрадчиво улыбается. – Моя хорошо смотри, как твоя спирт наливал в бутылку.

– Глаза малюсенькие, а видят далеко, – смеется Мищенко.

Садимся в круг. В мисках душистое парное мясо. Запах поджаристых лепешек, сухой петрушки, лука и без вина будоражит аппетит. Из спального мешка Василий Николаевич достает бутылку со спиртом.

– Надо бы за перевалом ее распить, да разве с вами не согрешишь? Держите кружки! – говорит он.

Все улыбаются и внимательно следят, как Мищенко делит пол-литра спирта.

– За перевалом тоже положено, не скупись, лучше другой раз придержишь, – замечает Геннадий.

– У вас не бывает другого раза. Осталось-то всего с литр, поставь его сейчас – и весь выхлещете.

– Ты не грози, возьми да и поставь, вот и не тронем!

Василий Николаевич, чтобы не рассмеяться, откусывает лепешку, бросает в рот чесночину и, сохраняя спокойное лицо, долго жует.

Улукиткан, хлебнув из кружки, сузил глаза, поморщился.

– Языку горько, сердцу худо, брюху тяжело, а пьют. Эко дурнину человек сделал себе! – старик потешно мигает, будто ему запорошило глаза, и заталкивает в рот кусок мяса.

Ужинаем молча. Голод не любит разговоров. Я наблюдаю за Улукитканом. Он сидит, отвернувшись от печки, молча жует мясо, запивая чаем. Как бережно старик держит в пригоршне хлеб! Дорожа каждой крошкой, он подбирает ее даже с пола. Маленькими кусочками он откусывает сахар, подолгу сосет его. Когда ест ложкой кашу, то держит под нею ладонь левой руки, боясь обронить крупинку. Это не скупость, а строгая бережливость, воспитанная всей многотрудной жизнью. Старик хорошо запомнил, какой ценой и какими лишениями платил раньше за фунт муки, за аршин дрянного ситца. Об этом ему всегда напоминают неразгибающаяся спина, больные ноги, распухшие в суставах пальцы, шрамы на затылке от когтей медведя.

Старики долго пили чай, затем снова принимались есть мясо, дробили ножами кости и высасывали ароматный мозг.

Утром мы с Улукитканом решили осмотреть подъем на перевал. Василий Николаевич с Лихановым отправляются за оставшимся грузом. Геннадий ищет в эфире своих, нервничает, выстукивает позывные: вероятно, нас опять потеряли и, конечно, беспокоятся.

И вот мы с Улукитканом снова на лыжах. На небе ни единого облачка. Яркие лучи солнца слепят глаза. За границей леса снег сухой, глубокий – выморожен стужей. Старик изредка погружает в него палку и, не достав дна, неодобрительно качает головой:

– Однако, олени не пройдут, дорогу топтать надо.

Взбираемся на перевальную седловину, оглядываемся и, пораженные картиной, долго стоим молча. Под нами лежат многочисленные отроги Джугдырского хребта, заснеженные, прочерченные причудливыми линиями глубоких ущелий. Кое-где на гребнях торчат одинокие скалы – останцы; на дне долины, словно заплаты, виднеются темные лоскуты ельников, а правее, за водораздельной грядой, блестит обледенелая вершина неизвестного гольца. Горы, постепенно понижаясь, убегают вдаль и теряются в синеватой дымке.

Улукиткан усаживается на лыжи и, обняв колени, смотрит вниз, как бы изучая сложный рисунок рельефа. Я достаю записную книжку, опускаюсь рядом.

Далеко внизу лежит тайга. Странное впечатление оставляет она! Обычно при этом слове невольно перед глазами встают древние, могучие леса приенисейской Сибири, живописных гор Восточного Саяна, юга Забайкалья, Уссурийского края. Там тайга растянулась на сотни, а то и тысячи километров – высокоствольная, замшелая, затянутая непролазной чащей и заваленная буреломом.

Совсем недавно мне пришлось совершить короткое путешествие по тайге Кузнецкого Ала-Тау. Огромные пихты и ели, убранные седыми прядями бородавчатого мха; лохматые кедры, великаны сосны, перемежаясь с белоствольными березами и сухостойным лесом, растут там дружно, стройно и так тесно, что старым деревьям нет места для могилы. Они умирают стоя, склонив изломанные вершины на сучья соседей. Только с топором в руках и можно провести караван через этот поистине могучий лес.

В своем дневнике я тогда записал: «В верховьях Томи деревья растут толстенные, а некоторые к тому же достигают почти сорокаметровой высоты. Зайдешь под непроницаемый свод гигантского леса, и тебя охватит мрак, сырость. Воздух насыщен винным запахом тлеющих листьев. Постоянно увлажненная почва покрыта валежником да обломками отживших и сваленных бурей деревьев. Нет там звериных троп. Туда не проникают порывы ветра, не заглядывает солнце. Ни цветов, ни травы. Только кое-где ютятся мелкий папоротник да жалкие кусты бесплодной смородины. Слух не потревожат песни птиц, не привлечет внимание шустрая белка или бурундук, не вспорхнет из-под ног рябчик. Даже медведь, владыка старых лесов, и тот избегает чащи, и только в осеннюю пору, когда поспеют орехи, можно увидеть его след

в кедровнике. Лес и лес без конца и края. И как радуешься, если увидишь сквозь поредевшую крону деревьев кусочек неба или свет полуденного солнца, пробившего своим лучом листву!»

Человек, попавший в такую тайгу, может легко сбиться с пути, потерять счет времени, быстро измотать свои силы.

Другая тайга представилась нашему взору сейчас, с Джугдырского перевала. Кроме чувства сожаления, она ничего не может вызвать у человека. Дружные ветры разметали ее по огромному пространству, и чахнет она по вечно стылým долинам, каменистым склонам гор, кочковатым равнинам. Только берега рек да кромки озер окаймляют узкие полосы густого леса, а за ними на мерзлотной подстилке марей и болот растут жалкие, одинокие лиственницы, сучковатые, низкорослые.

И все-таки эти деревья поражают своей удивительной жизнестойкостью. Они растут на вечной мерзлоте, чудом удерживаясь на мягкой моховой подушке, на скалах, россыпях, по крутизне, присосавшись корнями к камням и уступам. Даже взбираются на вершины гор. Отдельные лиственницы встречаются и в цирках, куда никогда не заглядывает солнце. Лес очень бедный, почти без подлеска. В лучшем случае «пол» затянут ерником или багульником.

– Летом тут, на перевале, по горам густой стланик, шибко густой, даже ходить не могу. Теперь он под снегом, скоро покажется, – говорит старик, болезненно щура глаза от яркого снега, отбеленного солнцем, и беспрерывно протирая их пальцами. – Туман, что ли? – вдруг спросил он.

– Нет, погода хорошая.

– Как хорошая? Смотри, горы не видно, куда его ушел...

– Все видно, Улукиткан, и горы и даже дым в лагере. Что это с тобой? Покажи-ка глаза.

– Не надо, – сказал он спокойно, прикрывая лицо ладонями и опуская голову, – однако, слепой стал от снега, надо скорее палатку ходить.

Старик перевязал глаза платком, оставив снизу узкую щель, и мы, не задерживаясь, спустились вниз. Василий Николаевич и Лиханов уже вернулись с грузом и привели оставленных на последней стоянке оленей.

Улукиткан ослеп от яркой снежной белизны, и это всех нас огорчило. Мы не Захватили запасных очков с затемненными стеклами, а у проводников своих не оказалось, и они в солнечные дни ходили с незащищенными глазами. Вот и результат!

Ночью снова разыгралась пурга. Завыл ветер, будто хотел рассказать нам про свою незавидную долюшку. Всколыхнулась, закачалась тайга. Зашумела прерывисто: то рядом, то ниже, то вдруг стихнет, но ненадолго.

Ветер находит щелки, выстуживает палатку, пробирается в постели. Спим долго, но чутко. Вот уже и утро наступает, а из спального мешка вылезать неохота. Холодно! Сквозь дремоту слышу, как Василий Николаевич бросает в печку стружки, дрова, чиркает спичкой.

Сразу потеплело, хочется вытянуться, свободно раскинуть руки. Палатка с трудом выдерживает напор ветра. Он задувает в трубу и выбрасывает внутрь нашего убежища из печки дым вместе с пламенем. Дышать становится трудно...

– А мы к вам! Можно? – кричит Николай Федорович, отстегивая вход и проталкивая Улукиткана. – Дрова у нас кончились, пришли погреться.

Мы встаем.

– Как твои дела, Улукиткан? – спрашиваю я старика.

– Мала-мала плохо...

– Да он всегда весной слепнет, привык, это пройдет, – говорит Лиханов, распахивая доху и подсаживаясь к печке.

– Плохая привычка, придется задержаться. Куда со слепым пойдешь?!

– Нет, – перебил меня Улукиткан, – слышишь, ветер туда-сюда ходит, пурга скоро кончится. Дорогу надо делать. Иначе не подняться с грузом на перевал.

– Это не твоя забота – дорога! – сказал я.

– Беспокойный ты человек, Улукиткан, все торопишься, спешишь, так на бегу и умрешь, – добавил Василий Николаевич.

Старик задумался, прошептал:

– Правда, смерть жадная, все бы забрала, да жизнь сильнее ее. Большая птица от стаи не хочет отстать. Так и я.

– Тебе горячий чай наливать?

– Эко спрашиваешь, Василий, кому нужен зимою чум без огня? – И он, пожевав пустым ртом, протягивает руку и ищет в воздухе кружку.

Буран ослабел. Я вышел из палатки. У лагеря собрались олени и, расположившись на снегу, пережевывают корм. Высоко проносятся прозрачные клочья туч, роняя последние остатки снега. Они жмутся к вершинам гор, прячутся по седловинам и падают на дно ущелий, но упрямый ветер срывает их, гонит дальше на запад. На горбатую вершину гольца выползло солнце, теплым лучом коснулось моей щеки. Кажется, нигде оно не бывает столь желанным и необходимым, как именно здесь, среди безжизненных откосов туполобых гор.

В этом краю извечно властвуют бури, от стужи цепенеют почва, камни и даже воздух. Зима длится около семи месяцев, морозы доходят до пятидесяти пяти градусов. Тайга как будто смирилась с суровым климатом, и все же кажется, не живет она, а мучается.

После завтрака решили прокладывать дорогу. Пригнали все стадо, отобрали пару лучших оленей и к ним привязали остальных – поодиночке, друг за другом без нарт. Впереди идут на лыжах Василий Николаевич, Николай Федорович Лиханов, а за ними тянутся в две шеренги олени.

– Борозду делайте поглубже, дорогу положе! – кричит вслед Улукиткан.

Некоторое время олени идут дружно, оставляя позади себя широкую полосу взбитого снега, но подъем становится все круче, а снег глубже, и животные скоро начинают сдавать. Из их открытых ртов свисают языки, дыхание напряжено до предела. Они передвигаются рывками, прыгают, падают, а некоторые уже тащатся волоком. Через каждые пять минут отдыхаем.

Наконец передние олени начали заваливаться на бок. Слышатся понуканья, ругань, глухие удары, но это не помогает.

– Видно, не промять нам дороги. До перевала далеко, – говорит Василий Николаевич, сочувственно поглядывая на оленей.

– Ничего, отдохнут, потом пойдут, – упрямится Лиханов.

Он тянется к Геннадию за кисетом и скручивает длинную козью ножку. Курят молча.

Олени никак не отдышатся, но их круглые черные глаза по-прежнему теплятся покорностью. С большим трудом поднимаем их, выстраиваем и заставляем лезть на сугробы перемерзшего снега.

Прибавилось еще сто метров борозды, но тут олени валятся друг на друга, и ничем уже нельзя заставить их подняться. А ведь еще остается с километр крутого подъема! Надо бросить оленей и самим заканчивать прокладку дороги, за это время они отдохнут и легко пройдут нашим следом.

Кажется, нет утомительнее труда, чем мять дорогу по глубокому снегу, покрытому твердой коркой. Вначале мы идем на лыжах, но это очень неудобно: лыжи набегают одна на другую, ноги проваливаются по колено. Часто падаем, зарываясь в снег.

Вот уже и лыжи сняли. Подвязываем повыше унты, чтобы снег не забирался внутрь, снимаем фуфайки и пробиваемся к перевалу. Идем молча: при такой работе не до шуток и разговоров.

Сухой снег – что сыпучее зерно, мы утопаем в нем по пояс. Иногда из-под ног вырываются жесткие ветки стланика, и тогда в лицо летят комья снега.

До седловины остается немного, метров четыреста, но нет силы продолжать подъем.

– К черту все! Я дальше не иду! – И Геннадий в изнеможении падает.

Лиханов возвращается к оленям. Василий Николаевич, весь мокрый от пота, устало смотрит на седловину и непрерывно глотает снег.

– Зря – простудишься. Что за детская привычка у тебя, Василий! – говорю я ему строго, а самому страшно хочется бросить в рот хоть кусочек льда, освежить пересохшее горло.

– Не простужусь, привычный. Плохо другое: слабею от него, да и пот одолевает. Мокрый, как загнанный конь, а не могу сдержать себя.

Василий Николаевич с Геннадием покурили и, отдыхая, дремлют.

Мое внимание привлекает необычайное зрелище: по затвердевшему снегу ползет хромой паук-крестовик, волоча больную ногу. Но он не один, его обгоняют другие пауки, черные и очень шустрые. Странно, как они попали сюда и куда идут? Ведь кругом снег! Я стал присматриваться и увидел вокруг нас тысячи насекомых, передвигающихся прыжками, как блохи, в том же направлении, куда идут пауки. По величине они совсем крошечные, даже трудно рассмотреть невооруженным глазом, но их так много, что снег кажется подернутым сизой пылью. Вероятно, всю эту массу насекомых и пауков сдуло ветром с деревьев – больше им неоткуда взяться. Они двигаются на запад, спешат к солнцу, источнику тепла, будто понимая, что скоро оно погаснет.

Неужели это вестники весны, разбуженные обманчивым солнцем? Хочется верить, что и здесь, среди заснеженных гор, будет тепло, зелено, зашумят ручьи, пробудится большая жизнь и мы окажемся свидетелями великого перелома в природе.

Но пока кругом зима.

Под перевалом нам повезло: мы вышли на твердый снег и легко добрались до седловины. Василий Николаевич спустился вниз. Через час они с Лихановым вывели наверх оленей по нашему следу.

– За ночь борозда застынет, с нартами идти будет легче, – заверил нас Лиханов.

Мимо нас бегут белые куропатки, пробираясь по снегу в соседнюю седловину.

– Птица непогоду чувствует, в затишье идет. Однако, опять буран будет, – говорит Лиханов, с тревогой взглянув на горизонт.

Мы еще не добрались до стоянки, как засвистел ветер, поднялась поземка, и снежной мутью окутало горы. Залезаем в палатку и плотно застегиваем вход. Проводники – с нами.

– Эко дурнота прорвалась, теперь надолго, – предсказывает Улукиткан, прикладывая примочку к глазам.

Сегодня ему легче, он сидит в своем углу без повязки и, как всегда, молчаливый.

– Что задумался, старина? – спрашивает его Василий Николаевич.

– Гнилое дерево корни держат, а старика – думы. Напрасно дорогу делали, пурга занесет ее. Опять придется оленей гнать, мять снег, вот и тревожусь, – отвечает Улукиткан, прислушиваясь к вою ветра.

– Знали бы, не мяли!

– Эко не угадали. Пуля слепая – далеко хватает, люди зрячи – за полдня не видят.

В печке шалит огонь. Слышно, как старики дробят ножами кости и высасывают мозг. Василий Николаевич уже дважды кипятил чай.

Всю ночь бушевала непогода. Спали тревожно. В палатке до утра не гасла свеча.

– Эко спите долго! Поднимайтесь, беда пришла! – вдруг слышится голос Улукиткана за палаткой.

Все вскакивают. Уже утро. Старик расстегивает вход, пролезает боком внутрь и окидывает всех тревожным взглядом.

– К нашему стаду чужие олени прибились, однако, на перевале люди пропадают, – говорит он, бросая на пол куски чужих ремней, расшитых цветными лоскутками.

– Кто-нибудь пришел?



– Нет. Видишь, от лямок что осталось? Когда человек замерзает, он не может развязать на олене ремни, режет ножом. Как так ты догадаться не можешь! – упрекает он меня.

– Кто же это может быть?

– Однако, Лебедев. Другой люди тут нету. У него работают олени Ироканского колхоза. Их метки я хорошо знаю. Искать Лебедева надо. Шибко скоро искать, погода худой... Однако, вечером он был под перевалом, да не успел перевалить, иначе увидел бы промятую дорогу, сюда пришел.

Догадка Улукиткана встревожила нас. Неужели буран захватил людей на перевале? Воображение мгновенно нарисовало страшную картину пурги, что пережили мы со стариком недавно у «худого места». Ох, как трудно человеку противостоять ей, да еще на открытых горах! Упади, присядь на минутку, поддайся усталости – и буран наметет над тобою могильный сугроб. Нужна исключительная сила воли, чтобы противостоять бурану. Ведь все мы хорошо знаем, что в такую погоду, если не успеет человек устроить себе убежище, упустит момент и не добудет огня раньше, чем закочуются руки, он погибнет. Скорее идти на помощь!..

Мы решаем с Василием Николаевичем выходить немедленно. Собираемся быстро. В котомки кладем топоры, по горсти сухарей и куску мяса, котелок, аптечку, сверток березовой коры для разжигания костра, меховые чулки. Берем с собой Бойку и Кучума.

Улукиткан, присев на корточки, молча следит за нашими сборами.

– Где же искать их? – спрашиваю я совета.

Старик смотрит на меня в упор, и я чувствую, что в нем происходит какая-то борьба.

– Пурга шибко большой, кругом ничего не видно, блудить будете, пропадете... Однако, я пойду с вами.

– Что ты, Улукиткан, не заблудимся! В крайнем случае собаки выведут, а тебе куда по такому ветру...

– Пойду, маленько дождидай, – решительно произносит он, выползая наружу.

Выходим следом за ним и пытаемся уговорить остаться.

– Ты как хошь, а моя пойду, не могу сидеть в палатке, когда люди пропадают, – твердит он, торопливо заталкивая в котомку маут.

– А его зачем берешь?

– На перевале шибко ветер, все привязываться будем.

Этого, конечно, мы не предусмотрели.

На старике латаные штаны, сшитые из тонкой лосины, опущенные поверх унтов и перевязанные внизу веревочками. Все та же старенькая дошка, теперь уже почти без шерсти, закрутившаяся от постоянной стужи. Она торчит коробом на спине, не сходится спереди и завязывается длинными ремешками, как тесемочками. Грудь открыта, шею перехватывает старенький шарф.

– Ты хочешь идти так? Без телогрейки? – удивляюсь я.

– Хорошо, мороз догоняй нету, – шутит старик, набрасывая на плечи котомку.

Пурга страшная. Идем вслепую, придерживаясь подъема и полузасыпанной борозды вчерашней лыжни. Встречный ветер выворачивает из-под ног лыжи.

Улукиткан отстает. Сгорбившись, он подставляет ветру то одно, то другое плечо, прикрывает лицо рукавицами, часто отворачивается, чтобы перевести дух. И как же мерзнет он в своей убогой одежке! Почему он не захотел одеться теплее?

«Зачем он идет? Зачем подвергает себя таким испытаниям?» – думаю я, а в душе зависть! Какую суровую школу нужно было пройти этому человеку, чтобы в восьмидесятилетнем возрасте сохранить страстную любовь к жизни! Это она заставляет его сердце биться, спасает от проклятого холода, толкает лыжи вперед, отгоняет старческую немощь...

Идем тихо, будто тащим на гору тяжелый груз. Улукиткан выбивается из сил, часто падает и не может встать без посторонней помощи. Пришлось достать маут, связаться им и цепочкой брать последний подъем.

Впереди идет Василий Николаевич, за ним я, а старик за моей спиной тащится на поводке, тяжело передвигая лыжи.

На седловине ветер гудит, как в трубе. Мы подбираемся к левому склону перевала и под защитой огромного камня останавливаемся отдохнуть.

– Проклятый холод тело царапает, будто не видит, что на мне одна парка<sup>22</sup>, – шепчет Улукиткан посиневшими губами.

Куда идти? Где найдешь следы людей, если сквозь буран дальше пяти метров ничего не видно! Кричать бесполезно – никто не услышит...

Не знаю, чем бы кончились эти поиски, если бы сама природа не сжалилась над нами.

Совершенно неожиданно буран оборвался, передохнул и ударил с тыла. В воздухе произошло странное замешательство. Словно табун диких коней, застигнутых врасплох, тучи то поднимались, то падали на горы и исчезали. Пурга удирала на запад; ветер метался по горам, не зная, куда деться.

– Крутит – хорошо. Однако, эскери карты путает, погода будет, – подбадривает нас Улукиткан.

Выглянуло солнце. Мы осмотрели седловину, но никаких признаков пребывания людей не нашли.

За перевалом – плотный туман. Виден только склон хребта да край леса в глубине ущелья. Всматриваемся до боли в глазах. И вдруг видим, что к перевалу тянется прерывистой чертой нартовый след.

– Аргал!.. – кричит Улукиткан, показывая на палку, торчащую поверх снега. – Однако, тут есть нарты, а может, и люди замерзли.

Мы скатываемся к аргалу. Василий Николаевич достает топор, рубит заледеневший бугор, под которым действительно лежат нарты. На одной из них – палатка, печь, пила, остальные пусты. Вероятно, обоз, не добравшись до перевала всего лишь две сотни метров, был застигнут пургой. Люди успели обрезать на оленях лямки, а сами убежали в тайгу, почему-то не захватив с собой ни палатки, ни печи, без которых, кажется, совершенно немисливо спастись в этакую стужу. Что с ними случилось дальше, страшно даже подумать.

Отпускаем собак, Бойка и Кучум уже далеко впереди несутся полным ходом навстречу ветру: они явно чувствуют дым или запах человека. Василий Николаевич бросает мне котомку, снимает телогрейку и мчится на лыжах за ними. С быстротой ветра он уходит от нас, оставляя позади себя длинную стезжку снежной пыли, – нельзя потерять собак из виду.

Нартовый след отклоняется влево: собаки бегут напрямик. Я с Улукитканом спускаемся за лыжней Василия Николаевича.

В воздухе чувствуется запах дыма. Наконец мы слышим человеческие голоса.

Нас встречают Бойка и Кучум. Они прыгают, визжат, точно хотят сообщить что-то очень интересное.

Сквозь туман вырисовывается странное нагромождение из хвойных веток, защищенное от ветра беспорядочно наваленными деревьями. Подходим ближе.

– Пресников! Здравствуй! Ты как сюда попал? – узнаю я лебедевского десятника.

– У нас за перевалом оставлен груз, едем за ним, да немного замешкались – буран захватил на гольце, – отвечает он, не менее удивленный нашим появлением.

У костра, огороженного навесом из хвои, скорчившись под ватным одеялом, лежит маленький человек. Голова его перевязана красным лоскутом; в быстрых, соболиных глазах

---

<sup>22</sup> Парка – легкая оленья дошка.

боль, губы кровоточат. Узнав Улукиткана, он с трудом приподнимается и молча протягивает ему маленькую, почти детскую руку, вспухшую от волдырей. Между ними завязывается разговор.

Это проводник Лебедева – Афанасий из Ироканского колхоза. Пресников, кивнув головой на больного, начинает рассказывать:

– За малым не пропал! Одежка на нем была плохонькая, не по климату, а новую телогрейку и брюки не захотел надеть, пожалел, вот и прохватило на гольце. Поднимаемся это мы на перевал, вижу – мой Афанасий не встает с нарт. Я к нему – он что-то бормочет по-своему, а пошевелиться не может, застыл. Хочу оленей повернуть обратно в тайгу – они запутались в ремнях, ни туда ни сюда. А от ветра нет спасения! Конеч, думаю, и тебе, Пресников. Обойдешься без похорон. Оленей все же решаюсь отпустить, пусть хоть они спасутся, да руки закончили, не могу развязать ремни. Перерезал их ножом, но и самому пропадать неохота; схватил постель, топор – и с Афанасием вниз. Где волоком его тащу, где на себе. Кое-как притащил сюда, разжег костер, давай мужика снегом растирать, а он кричит благим матом, – значит, руки, ноги зашлись.

– Чего же вас понесло в такую непогоду на хребет? Не впервые же ты в тайге? – спрашивает Мищенко.

– Моя вина. Афанасий предупреждал – пурга будет, а я понадеялся на свою силу, настоял ехать. Сам бы пропал – уж поделом, не рискуй зря, а ведь человека погубить мог!

У костра тепло. Мы отогреваемся, развязываем котомки, угощаем товарищей мясом, сухарями, пьем чай. Улукиткан и Афанасий разговаривают спокойно и даже как-то скучно, будто во всем случившемся нет для них ничего необычного. Жители этого сурового края чаще, чем в других местах, встречаются со смертью, они привыкли смотреть ей в глаза.

Пока я занимался больным – обмывал его раны, делал перевязку, – Василий Николаевич с Пресниковым успели притащить с перевала нарту с вещами. Мы поставили палатку, установили печь, напилили дров и ушли. Афанасий остался один. К ночи придет сюда Геннадий, и они дождутся нас с обозом.

Через день, захватив лебедевский груз, мы покинули верховья Купури. Промятую нами три дня назад дорогу хотя и занесла пурга, но подниматься по ней было легче, чем по целине. Да и олени за эти дни немного отдохнули, шли бодрее. На крутых местах нарты наполовину разгружали и вытаскивали их поодиночке, зачастую сами впрягаясь в лямки или помогая сзади.

Последний раз я смотрю на пройденный путь, скрытый в глубоких складках угрюмых отрогов Джугдырского хребта. Купури не видно, все заслонили набегающие друг на друга уступы снежных гор, и только торчащая далеко внизу бесформенная скала напоминает об этом суровом ущелье. Пережитое нами – тревоги, бессонные ночи – уже потеряло свою остроту. Наши мысли и желания устремлены вперед. Прощай, негостеприимное ущелье Купури!

Перед спуском в Кукурское ущелье задерживаемся, чтобы еще раз проверить нарты и упряжь. Я выхожу на боковую возвышенность. Даль свободна от дымки и тумана. На север и восток открывается обширная панорама гор, облитых снежной белизною. Слева, из-за большой сопки, вырисовываются отроги Станового, отмеченного полосами темных скал и зубчатыми рядами. Невысокие утесы, сбегая вниз, теснятся по краям извилистых ущелий. Правее же, насколько видит глаз, раскинулись волнистые отроги Джугдырского хребта. Темными пятнами выделяются цирки, по гребням лежат руины скал. Изломанные контуры вершин исчертили край синего неба.

Между Становым и Джугдырским хребтами мы не увидели сколько-нибудь заметной глазу границы. Это один и тот же хребет, может быть, несколько пониженный к морю и разделенный только названиями. Мы впервые видим Становой так близко с земли. Он поражает нас грандиозностью, крутизной и мрачным обликом. Даже при беглом знакомстве с восточной

частью хребта уже можно наверняка сказать: здесь нашим людям придется много потрудиться, чтобы разобраться в этом диком и сложном рельефе.

Когда мы заехали за своими, у них уже была свернута палатка и упакованы вещи. Афанасий чувствовал себя неплохо, хотя лицо и руки его покрылись струпьями.

Наш путь идет по реке Кукур – самому верхнему из больших правобережных притоков Май. Едем редколесьем, по нартовой дороге, проложенной обозом Лебедева. Здесь снег мельче, олени идут веселее. Запели полозья, ожили бубенцы. Кажется, где-то близко крадется незримо весна. Никогда еще мы не ждали ее с таким нетерпением, как в этот год!

Уже начал прихорашиваться лес. Ветерок расчесывает у елей густые пряди крон; по-девичьи задорно шумят вершинами березы; лиственницы пахнут разнеженной на солнце корою, а кочки, вылупившиеся из снега, – прогретой прелью. Появились и птицы. Вот на рябине спорит стайка черноголовых синиц, где-то внизу кричит желна, и часто попадаются на глаза белоспинные дятлы. Их стук, сливающийся в дребезжащую трель, не смолкает в лесу. Сегодня впервые мы почувствовали пробуждение природы, и это будто окрылило нас.

Бойка и Кучум где-то отстали. Караван растянулся. Улукиткан тихо поет, – вероятно, про теплый день и благополучный путь. А солнце становится все щедрее. Однообразные звуки бубенцов, скрип полозьев и постукивание копыт нагоняют сон...

Ночуем на бывшей стоянке Лебедева. До лагеря остается день езды.

Вечереет. С гор струится холод. Стая белых куропаток шумливо пронесется над палатками, направляясь в боковой лог. Василий Николаевич поручает поварское дело Геннадию, а сам с ружьем бежит следом за ними.

Собак все еще нет. Это озадачило меня.

– Кого-нибудь нашли – соболя или колонка. Придут. Ворон мимо трупа не пролетит, собака мимо табора не пробежит, – успокаивает меня Улукиткан.

Я усаживаюсь за дневник, но писать не могу – мысли беспрерывно возвращаются к собакам. А что, если действительно связались с соболем? Они же не отстанут от него и завтра, пока кто-нибудь из нас не подойдет к ним. Винить-то их нельзя, они делают свое дело...

Надо им помочь. Беру винтовку и ухожу на ближнюю сопку в надежде услышать их лай.

Бойка и Кучум унаследовали от своих предков, Левки и Черни (в прошлом много лет сопровождавших нашу экспедицию), все качества зверовой лайки: прекрасное чутье, неутомимость в охоте и преданность человеку. Они не раз выручали нас из беды. Мы по праву называем их своими четвероногими друзьями и не представляем, что бы делали в тайге без них. Бойка и Кучум улавливают в лесу тончайшие звуки, недостижимые для нашего слуха. По их поведению легко догадаться о близости зверя, переломе погоды, о приближении кого-либо. По лаю собак легко определить, с кем они имеют дело: на рысь, росомаху они нападают напористо, злобно; лося берут мягко, лают прерывисто, иногда с длительной паузой; колонка, соболя, загнанных на дерево или в дупло, облаивают однотонно. Белка их интересует только в сезон промысла. Так что надо было выяснить, куда же они делись, нельзя бросать их в тайге.

С вершины, куда я поднялся, видны расположенные небольшим полукругом заснеженные хребты.

По широкой долине змеится река Кукур. С юга по ее ледяной поверхности тянется тонкой стружкой нартовый след. Солнце багряным кругом сползает к горизонту, в сизую дымку кутается тайга.

Я присаживаюсь на валежину и наблюдаю, как гаснет изумрудно-лиловая заря на потемневшем небе.

«У-гу... у-у-гу...» – бубнит протяжно филин.

«Неужели соболя мог увести собак так далеко, что даже лая не слышно?» – думал я, уже в темноте спускаясь с сопки.

В лагере пахнет паленым пером и жареной дичью.

– Не слышно? – спрашивает меня Василий Николаевич Мищенко. – Придется утром идти искать. Если с соболем возьмется, я им всыплю горячих, отобью охоту связываться с мелочью! – грозитя он.

– Опять из-за псов будет задержка! Пока доберемся до Кирилла Родионовича – весна настанет, – ворчит Геннадий, просовывая в печь общипанную и синюю от худобы куропатку.

После чая Василий Николаевич починил лыжи, достал из потки свисток для рябков, осмотрел его, продул и положил в боковой карман. Добавил в кiset табаку.

Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его хрупкой коркой – настом.

Собаки не пришли.

Рано утром идем нартовым следом обратно к перевалу искать Бойку и Кучума. Слева в полном разливе заря, справа над горами висит запоздалый месяц. Идем ходко. Вокруг тихо. Только под лыжами хрустит снег. Следа собак все еще не видно, а уже скоро перевал.

– Вы ничего не слышали? – спросил вдруг Мищенко, снимая шапку и прислушиваясь. – Вроде ухнуло что-то?..

– Наверно, лесина упала.

Мы простояли еще с минуту, и только тронулись, как до слуха ясно донесся лай собак.

– Ишь куда их черти занесли – под голец! Так и есть, соболя загнали, больше некому быть в россыпях! – рассердился мой спутник.

Он торопливо подоткнул за пояс полы однорядки, сбил с лыж бугром застывший снег и торопливо зашагал на звук. Глаза его азартно заблестели.

Поднялись на берег реки, стали забирать вправо к отрогу.

Лай доносился глухо, как отдаленный звон колокола. Торопимся на звук. А что, если собаки держат крупного зверя – сокжоя или сохатого!.. При этой мысли сердце стучит приятной тревогой...

– Непутевые они у нас, ей-богу! Нашли время зверушками заниматься! Это Бойка зачинщица и Кучума сбивает. Вот уж доберусь до нее! – говорит Мищенко строго, а в голосе звучит явная ласковость.

И хотя я знаю, что Бойку и Кучума он не обидит, но подзадориваю его:

– Следует! Как же это они, не спросившись, соболем занялись?!

Мищенко вдруг затормаживает лыжи и меряет меня строгим взглядом:

– Думаете, не всыплю? Только шерсть полетит с нее! Посмотрите...

Огибаем крутой склон отрога и выходим в широкий распадок. Кругом лес. Узкие языки ельников забегают в боковые расселины и поднимаются до курумов.<sup>23</sup>

– Вот и след соболя, бежали прыжками! – кричит Василий Николаевич, поворачивая лыжи по их следу. – Так и есть, соболя прогнали, – добавил он.

Через километр следы привели нас к густой, развесистой ели. Под ней все было натоптано, примято, на стволе виднелись свежие борозды от когтей собаки. Но поблизости никого не было. След соболя ушел через лес к соседнему отрогу, собаки же убежали в противоположную сторону, и мы решили, что наших псов отвлекло что-то более интересное, нежели соболь. Но что именно?

Через полкилометра сдвоенный след собак свернул влево, выбежал на верх гряды и нырнул в соседний распадок. Теперь лай слышится ясно, но понять, кого они «обхаживают», невозможно. Голоса стали неузнаваемыми, хриплыми.

За гребнем – темный ельник, прикрывающий крутой распадок. Оттуда-то и доносится лай. Василий Николаевич мчится вперед, забираясь все глубже в лес. Он подкатывается к собакам и вдруг делает огромный прыжок вверх, поворачивается в воздухе. Я вижу его лицо, иска-

---

<sup>23</sup> Курумы – потоки каменных россыпей по склонам гор.

женное страхом. Он хочет что-то крикнуть, предупредить, но успевает только взмахнуть рукой и падает в рыхлый снег. Невероятным усилием я пытаюсь задержаться, торможу ногами, но лыжи не повинуются, ползут по инерции к невидимой опасности. Хватаюсь за дерево. Вдруг земля выскользнула из-под ног, лес перевернулся, я зарываюсь глубоко в снег. На мгновение теряю сознание.

Поднимаю голову, пытаюсь осмотреться. Василий Николаевич все еще барахтается в яме, не может подняться на ноги. Собаки неистовствуют, атакуя кого-то под выскорью<sup>24</sup>. Хочу встать, но одна лыжа оказалась сломанной, а вторая застряла в стланике.

Я нечаянно взглянул вперед и... обомлел. Из-под выскори высунулась лобастая морда медведя. Зверь метнул злобно глазами, рывкнул и исчез в берлоге. Собаки, отскочив на миг, вновь подступили к лазу<sup>25</sup>. Острое чувство беспомощности овладевает мной. Я ищу упавшую в снег винтовку, ругаю себя за неповоротливость и, как на грех, не могу высвободить ноги. В сознании с необычайной ясностью вырисовывается вся опасность нашего положения. Что, если медведь сейчас вылезет из берлоги, вздыбит и, прежде чем я найду ружье, протянет ко мне косматые лапы? Тут уж вся надежда на верных Бойку и Кучума. Набросятся они на медведя сзади, вопьются в его «шаровары» острыми зубами и примут на себя всю медвежью ярость. Да и Василий не оробеет, бросится с ножом на выручку товарищу! А тем временем я найду ружье и выстрелом свалю зверя на снег. Все это молниеносно проносится в голове. Холодный пот пронизывает тело. Нет более острых переживаний, чем встреча с медведем у берлоги.

Справляюсь с минутным смятением, беру себя в руки. Ко мне приближается Василий Николаевич и повелительным тоном требует поторапливаться.

– Зверь может сейчас появиться!.. Где винтовка? – кричит он.

Наконец-то я освободился от лыж. Встаю. Продуваю ствол ружья, забитый снегом, и мы отходим влево, чтобы осмотреться. Собаки, подбодренные нашим присутствием, поочередно врываются в лаз, однако, напуганные рычанием зверя, мгновенно отскакивают и опять бросаются к лазу. «Какая чертовская смелость!» – думаю я, наблюдая за их схваткой.

Медведь снова показывает на мгновение свою разъяренную морду, и я ловлю на себе его зеленовато-холодный взгляд.

Берлога сделана на крутом косогоре лога, под корнями давно свалившейся ели. Снег вокруг плотно утопан, маленькие прутики, торчащие поверх снега, откусаны. Это работа собак. Они лучше нас знают, на что способен этот зверь, и постарались очистить «рабочее место» от всего, что могло бы мешать их атаке.

С какой же позиции лучше стрелять? Становиться против лаза опасно – место неудобное и крутое, зверь может наброситься даже и после удачного выстрела. Спускаюсь немного ниже и чуточку правее. Наскоро вытаптываю место под березой. Легкий озноб нервно холодит тело. Зрение, слух, мысли – все приковано к лазу, где собаки отчаянным лаем вызывают косолапого на поединок. Тот фыркает, злобно ревет, отпугивая наседающих псов.

Проходит минута, другая... Василий Николаевич, прижимаясь плечом к ели, пристальным взглядом следит за берлогой.

Вдруг снег в том месте дрогнул, разломился, и на его пожелтевшем фоне показалась могучая фигура медведя – гордая, полная сознания своей страшной силы. На секунду он задерживается, как бы решая, с кого начинать.

Собаки быстро меняют позицию, подваливаются к заду медведя и мечутся на линии выстрела. Я выжидаю момент. Медведь торопливо осматривается, делает шаг вправо, но в следующее мгновение меняет ход, скачком бросается влево, подминает под себя обманутого

---

<sup>24</sup> Выскорь – вывернутые корни упавшего дерева.

<sup>25</sup> Лаз – входное отверстие в берлогу.

Кучума... На выручку рванулась Бойка. С одного прыжка она оседлала зверя и вместе с ним катится вниз. Вырвавшийся Кучум лезет напролом.

Все смешалось со снежным вихрем, взревело, поползло на меня. Вот мелькнула разъяренная пасть медведя, хвост Бойки, глыба вывернутого снега. Медведь огромным прыжком все же смахнул с себя собак и бросился ко мне, но пуля предупредила его атаку. Зверь ухнул, воткнул в снег окровавленную морду, скатился к моим ногам. От его прикосновения у меня зашевелились под шапкой волосы.

Василий Николаевич бросается к собакам. Поднимает Бойку. У нее разорвана грудь. Кучум визжит, царапает лапой возле уха, из открытого рта тянется кровавая слюна. Мы струним ремнями морду Бойки, укладываем на снег и начинаем сшивать ее раны. У меня в шапке нашлась иголка с обыкновенной черной ниткой. Иголка с трудом прокалывает кожу, собака визжит, корчится в муках под неопытной рукой «хирурга».

Кучум отделался только прокусами.

Медведь оказался крупным, в роскошном «одеянии». Его густая темно-бурая шерсть переливалась черной остью от еле уловимого ветерка. Короткую шею с лобастой мордой перехватывал белый галстук. От длинного бездействия когти у зверя сильно отросли, загнулись внутрь.

– Хорошая чесалочка, – посмеялся Василий Николаевич, взглянув на лапу.

Он не подошел к зверю и не проявлял сколько-нибудь заметного любопытства. Такое равнодушие обычно овладевает зверобоем после удачного выстрела. Именно после выстрела и обрывается вся острота и прелесть зверовой охоты.

Хотя на этот раз выстрел принадлежал мне, Василий Николаевич остался верен себе. Сколько раз я наблюдал за ним. Он давно потерял счет убитым зверям, схваткам с медведем, добытым соболям. И все же каждый раз, увидев зверя, он с новой силой воспламеняется страстью следопыта-охотника. Тогда для него не существует расстояний, пропастей, темноты, пурги. С легкостью юноши он бежит через топкие мари, карабкается по скалам, пробирается сквозь стланиковые заросли, не чувствует ушибов, царапин на лице – все подчинено этой страсти. Но вот прогремел выстрел – и все в нем заглохло. Он превращается в того самого Василия Николаевича, который поражает спокойствием и таким добродушием, словно не способен обидеть и курицу.

Уходя за нартами в табор, он сказал, кивнув головой на зверя:

– Сало снимайте пластами. Тушу не дробите, разделявайте, как сохатого.

В теплых лучах солнца млела безмолвная тайга. За горбатым отрогом в глубине долины копится грязный дым, выдавая лагерь. Откуда-то появилась кукша. Попрыгала по веткам, повертела чубатой головой, поразмыслила и пошла звонить на всю тайгу:

«Кек... кек... ке-ке...»

Череп и шкура убитого медведя должны были войти в мою коллекцию, предназначенную для Биологического института Западно-Сибирского филиала Академии наук. Поэтому первым долгом я произвожу внешнее описание и делаю необходимые измерения, а потом уже начинаю свежевать. Кладу зверя на спину, распарываю ножом кожу от нижней челюсти через грудь до хвоста, затем подрезаю ноги по внутренней стороне до продольного разреза и отделяю подошву от ступни, но так, чтобы при коже остались когти.

Медведь жирный, шкура отделяется только под ножом. Вспарываю брюшину. Вся внутренность залита жиром. В маленьком желудке и кишечнике пусто, их стенки покрыты прозрачной слизью. Затем переворачиваю тушу вверх спиной и делаю глубокий разрез вдоль хребта. Толщина сала на крестце пятьдесят пять миллиметров. Это после шестимесячной спячки!

Василия Николаевича все еще нет. Собаки крепко спят. Я разжег костер и, усевшись у огня, достал записную книжку.

Удивительно, как разнообразны условия, в которых живут звери и птицы. Какой замечательной приспособленностью и какими разнообразными инстинктами наградила их всех природа!

Это особенно заметно осенью, когда кончаются теплые дни, слетает с деревьев красочный наряд, умолкают уставшие за лето ручейки и жесткие холодные ветры напоминают всем о наступающей зиме. Травоядные покидают открытые места летних пастбищ, высокогорье и двигаются в тайгу, в районы мелких снегов. За ними тянутся хищники. Грызуны зароятся в норы, стаи гусей, уток, болотных и лесных птиц устремятся к дальнему югу. В их полете, крике, даже в молчании, что царит в это время в природе, всегда чувствуется неизмеримая печаль.

Нет живого существа, не встревоженного приближающейся вслед за осенью стужей. К этому времени у медведя пробуждается инстинкт зарыться в землю. Ложится он в берлогу с большим запасом жира (худой зверь, а тем более больной не ляжет в берлогу. Он обычно погибает в первой половине зимы от голода и холода). Неискушенному наблюдателю кажется, что медведю надо много жира для зимовки, ведь спячка его в Сибири длится около шести месяцев. Срок большой, но, как ни странно, за это время он очень мало расходует жира: его организм почти полностью прекращает свою жизнедеятельность.

Для чего же нужен медведю такой большой запас жира? Не проявила ли природа к нему излишней щедрости? Конечно, нет. Во время спячки жир служит изоляционной прослойкой между внешней температурой и температурой внутри организма.

Как только медведь покинет берлогу и организм его воспрянет от оцепенения, а это обычно бывает в апреле, сразу же восстанавливается деятельность всех его функций и появляется большая потребность в питательных веществах. Но где их взять? Кругом еще лежит снег. Взрослого зверя – сохатого, сокжоя или кабарожку – трудно поймать, а телята появляются на свет только в конце мая – начале июня, да и птиц ему не словить, для этого он слишком неуклюж. Растительного же корма еще нет. В желудке убитых в апреле и мае медведей обычно находишь личинок, червячков, муравьев, корешки различных многолетних растений и даже звериный помет. Но разве может он прокормиться такой пищей? Да и разоренные им норы бурундуков, где иногда удается достать две-три горстки ягод или кедровых орехов, не спасли бы медведя от голодовки без осеннего запаса жира.

Василий Николаевич приехал на трех нартах. Мы разложили на них мясо, увязали и тронулись в обратный путь. Бойку пришлось нести на руках до реки, Кучум, прихрамывая, плелся сзади. Над лесом, каркая, летели к выброшенным кишкам две вороны.

В лагере праздник. Все ожили. Даже Афанасий вышел из палатки встречать нас. Он улыбается и морщится от боли, едва растягивая губы, скованные коркой.

Вечер крадучись спускается со склона гор. Гаснет за горизонтом свет. Исподтишка ерщится ветерок. На востоке одинокая туча прикрыла космами вершины. Большой костер ввинчивает в плотное небо сизую струйку дыма. На таганах, в закопченных котлах, варится свеженина, тут же на деревянных шомполах румянится шашлык. Мы все сидим возле огня, глотая сочный запах, и следим за Василием Николаевичем – «главным дирижером».

Наконец ужин готов, и все идут в палатку.

Старики едят быстро. В левой руке – мясо, в правой – острый нож. Зубами захватят край куска, чиркнут по нему ножом возле губ, глотнут. Руки еле успевают подкладывать, отрезать. Мясо почти не пережевывают – словно зубы у них предназначены для другой, более сложной работы: нужно ли подтянуть потуже подпругу на олени, развязать узел на ремне, протащить сквозь кожу иголку или что-нибудь оторвать, отгрызть – все это старики обычно делают зубами. В быстроте и ловкости, с какой работают у них челюсти, есть что-то первобытное.

Рядом со мной сидит Улукиткан, роясь заскорузлыми пальцами в своей чашке. Мяса много, оно жирное; глаза старика жмурятся, нежась над теплым медвежьим паром. Ест он



без хлеба, поспешно отрезая и глотая куски мяса. Устанет – передохнет, хлебнет из блюда горячего жира, и снова у губ заработает нож.

– Эко добро – медвежье сало! Сколько ни ешь – брюху не лихо, – говорит старик, слизывая с блюда жир.

Лиханов от него не отстает. Глаза его размякли, посоловели, засаленная борода лезет в рот.

Афанасия разбинтовали – так свободнее. Он черпает кружкой жир из котла, пьет его несоленным, процеживая сквозь зубы.

Все они едят много; отяжелев, валяясь на бок и полулежа еще оскабливают, обсасывают кости. Затем пьют чай, разговаривают.

– Уже десятый час, пора спать. Завтра рано подъем, – предупреждаю я.

– Эко спать! После жирного мяса сна не жди...

Василий Николаевич принес в палатку большую Бойку, покорную, с печальными глазами, и сейчас же в щель просунулась голова Кучума. Умное животное следило за нами, точно хотело узнать, что мы намерены делать. Но как только Бойка начала визжать, биться в руках, Кучум поспешно убрался.

Мы выстригли вокруг раны узенькую полоску шерсти, промыли рану йодом и уложили Бойку спать.

Ночью сквозь сон я слышал разговор в палатке проводников, хруст костей и почмокивание губ. Старики продолжали ужин.

Утром пришлось задержаться – проводники опять ели мясо, пили чай, затем долго искали оленей.

День выдался солнечный. Лес слабо шумел. Пахло отогретой хвоей. Над брошенной стоянкой горбило белое облачко, присосавшись к боковому отрогу и уронив легкую тень на наш след.

Кукур – небольшая речка, образующаяся от слияния многочисленных ручейков, сбегающих с крутых склонов Станового и Джугдырского хребтов. Километрах в десяти ниже перевала она течет узким руслом, въедаясь в угрюмые отроги, преградившие ей путь к Мае. Горы не расступились, а скалами повисли над щелью, по дну которой течет Кукур.

Вот этим узким ущельем мы и ехали по льду реки. Нас встретила промозглая сырость, никогда не продуваемая ветрами. Солнце и, кажется, само небо прятались за скалами. Малейший звук, зародившийся в тишине ущелья, сразу усиливался, множился, отражаясь от ворчливых скал. Олени, подбадриваемые криком проводников, бежали дружно, отбивая копытами дробь.

Уже остались позади многие кривуны и разнообразные ансамбли скал, но край ущелья еще не виден. Пейзаж скучный. Высокие каменные стены, словно гигантские занавеси, исписаны скупым рисунком лишайников. Редко где увидишь карликовую березку или прутик багульника, поселившегося на холодных уступах.

Неожиданно мы вспугнули двух черных воронов. Их присутствие в этой глубокой щели озадачило нас. Рядом светлая долина, где много солнца и простора, но они живут здесь, предпочитая мрак, застойную сырость.

Но вот скалы раздвинулись, пропустив в ущелье свет. Вдали показались горы. А еще километров через десять мы наконец-то увидели берег Маи. Там и заночевали.

Река Мая в верхней части протекает по плоской и сравнительно широкой долине, затянутой смешанным лесом, преимущественно лиственничным. Горы здесь пологи, с хорошо разработанными лощинами. Зато дальше, отступая от реки, виднеются громады угловатых гольцов. Крутом нерушимо лежит зима, и только лес шумит не по-зимнему, напоминая о недалеком переломе.

Чуть свет мы уже были в пути.

Из-за правобережного хребта грузно поднимались взбудораженные ветром тучи. Толкая друг дружку, они расползались, затягивая небо. А следом за ними мутной завесой хлестала по вершинам гор непогода. Потянула встречная поземка, и снова заглодало. Свежие хлопья снега косо падали под ноги, засыпая следы.

В двенадцать часов мы добрались до лагеря Лебедева.

– Кажется, никого нет! – крикнул Василий Николаевич, соскочив с нарт и заглядывая в палатку.

Стоянка занесена снегом. Ни человеческих следов, ни нарт, ни оленей...

– Странно, куда же они ушли? – удивился я.

– Ты спрашиваешь про людей? Ушли сегодня далеко, не скоро вернуться, – пояснил Улукиткан.

– Откуда ты узнал? Почему так думаешь?

– Эко, не видишь! Читай, тут хорошо написано, – И старик показал рукой на ближайшую лиственницу.

На ней я увидел обыкновенный затес и воткнутую горизонтально ерниковую веточку с закрученным кольцом на конце.

– Ничего не понимаю! Обычный затес. Ты шутишь, Улукиткан.

– Как – шутишь? Поди, не слепой! – Он с досадой схватил меня за руку, потащил к лиственнице. – Хорошо смотри, я рассказывать буду. Раньше эвенки совсем писать не умели. Когда ему надо было что-нибудь передать другой люди, он делал разный метка на дереве, смотря чего ему надо сказать. Если хозяин чума или лабаза кочевал со становища совсем, то веточку клал прямо, куда ушел. А если уходил надолго, но хотел обязательно вернуться, конец веточки заворачивал назад кольцом. Понял? Твоя глаза есть, хорошо смотри: каюр Лебедева правильно писал, что обязательно вернуться сюда, но не скоро. Если же эвенк кочевал на два-три дня, то кольцо веточки пускал немного вниз. Когда он уходил на день, в другом месте ночевать не хотел, веточку клал без кольца, концом прямо вниз. Теперь твоя понимай? Раньше эвенки все так делал.

– Как не понять! Но откуда ты узнал, что они уехали сегодня?

– Все тут на веточке написано. Как не видишь? Смотри, тут ножом вырезано четыре острых зубца подряд и один тупой. Острый зубец – это по-нашему солнечный день, тупой – непогода. Значит, Лебедев кочевал отсюда после четырех подряд хороших дней на пятый, в непогоду. Теперь хорошо считай сам и скажи, когда он ушел.

– Верно, уехали сегодня, – вмешался в разговор Василий Николаевич. – Вспомните, ведь солнечные дни начались с четвертого числа, мы еще за перевалом были, и продолжались они четыре дня, а сегодня по счету пятый день – и первый день непогоды. Ты смотри, как просто и ясно! Грамотному человеку, пожалуй, и лиственницы не хватило бы все расписать, а у эвенка столько вместились на веточке... Скажи пожалуйста! И как ты, Улукиткан, все это видишь?

А тот, все еще покачивая от удивления головою, продолжал досадовать на нашу безграмотность, на то, что мы не обладаем нужной наблюдательностью, не замечаем многого, не умеем доискиваться до причин самых разнообразных явлений в природе.

– Человеку не напрасно дан ум, – заключил он. – Если нашел на снегу кучу перьев – не ходи дальше, непременно узнай, чьи они и почему лежат тут; если заметишь сломанную веточку – тоже узнай, кто и зачем ее сломал; увидишь след бежавшего сокжоя – разберись, от кого он удирал. Глаз все должен видеть. Но только видеть – это мало, нужно и понимать, что видишь. – И, махнув на нас безнадежно рукой, он стал распрягать оленей.

«Вот он, истинный следопыт, дитя природы, свидетель далекой старины! – думал я, с восхищением поглядывая на Улукиткана. – Таких, как он, остается все меньше и меньше. Они уходят из жизни, унося с собою историю и веками накопленный опыт своего народа. Трудно даже представить, какие огромные знания накопил этот бывший лесной кочевник и как все

ему понятно в жизни тайги. Какое это счастье для человека – выработать в себе с молодых лет пытливость, любознательность, интерес к загадочным явлениям, научиться находить всему причины!»

...Лебедев обосновался на берегу Май, в двух километрах выше устья левобережного притока Кунь-Манье. Слева лагерь стеной огibal рослый лес, а справа к нему прижался наносник из серых помятых стволов, принесенных сюда водой в половодье. Палатка, приземистая, как черепаха, сиротливо стояла под огромной лиственницей. Рядом на четырех ошкуренных столбах возвышался лабаз, заваленный грузом и прикрытый брезентом. Ветер хлопал обгорелой штаниной-пугалом, подвешенной на кривой жердочке. Под лабазом висели туго набитые потки, ремни, посуда проводников, лежали ящики с гвоздями, цементом, круги веревок, тросы. Следы же пребывания людей были скрыты под снегом.

Путь окончен. Груз наш сложен под брезентом, а освободившиеся нарты, изрядно помятые жесткой дорогой, лежат перевернутые вверх полозьями. В палатке на печке бушует суп, переплескиваясь через край кастрюли. Душно от пара и перегоревшего жира.

Я сижу за дневником. Рядом со мною – Улукиткан. Он рассказывает о лесной письменности и внимательно следит, как по бумаге скользит карандаш.

Сначала я слушаю рассеянно, как говорится, вполуха, но через несколько минут бросаю писать и весь превращаюсь в слух.

Как много знает этот человек! Как интересно его слушать!

Из его рассказов я узнаю, что в старину эвенки не делили год на двенадцать месяцев, как это принято всюду. Они его разбивали на множество периодов, в соответствии с различными явлениями в природе, имеющими какую-то закономерность. Даже Улукиткан, доживший до пятидесятих годов нашего столетия, все еще пользуется в личной жизни таким календарем. Если он говорит: «это было, когда крепкий мороз», то надо понимать – это случилось в январе; «много снега на ветках» – февраль; «когда медведица щенится» – март; «время наледей» – апрель; «прилетают птицы» – май; «одеваются в зелень лиственницы» – июнь; «жаркие дни» – июль; «когда олень сбрасывает кожу с рогов» – август; «когда в тайге трудно собирать олений» – сентябрь; «белка становится выходной» – октябрь; «самое добычливое время» – ноябрь; «сохатый теряет рога» – декабрь. Эти большие периоды, в свою очередь, делились на мелкие, приуроченные к явлениям в природе, имеющим более точное время. Если Улукиткан говорит: «это было время начала паута», то он имеет в виду примерно 10 июня; «когда кукушка начала кричать» – 20 мая; «когда лебедь на север летит» – конец мая; «начало гона у сохатых» – 17 сентября...

Этот неписанный эвенкийский календарь хранит в себе много интересных, проверенных столетиями наблюдений над явлениями природы. Как ни странно, некоторые из этих дат долгое время были предметом споров в научных кругах.

Эвенки – прекрасные таежники. От их наблюдательности не ускользают малейшие изменения в окружающей обстановке, они прекрасно ориентируются, разбираются в следах зверей, в звуках. Для них в тайге нет ничего нового, неожиданного, ничем их там не удивишь. Для эвенков веточка с кольцом и надрезами, которые мы только что рассматривали, вполне заменяет письмо. Это довольно странная и необычная письменность кочевника, да и деревянная «расписка» и многое другое дошли до нас из глубокой старины вместе с ее представителями – стариками. Жаль, если с ними она и умрет.

О нашем приезде Лебедев не догадывался. Он ушел с отрядом на восток, намереваясь обследовать большой узловой голец, со склонов которого берут начало реки Кунь-Манье, Сага, Нимни. После окончания этой работы он должен будет перебраться на Джугджурский хребет.

Сегодня вечером мы встретились в эфире со своими радиостанциями. Нам передали приятные вести: главный инженер Хетагуров с группой геодезистов третий день штурмует Чагарский голец. Топографы Яшин и Закусин ушли своими маршрутами в глубину удских марей

и по кромке Охотского моря. След обоза астронома Каракулина, обогнув с севера Становой, убежал вдоль Джугджурского хребта к истокам Уяна. Наследили нарты геодезистов по рекам Гуанам, Арга, Селиткан. Обогрелась кострами разрозненных отрядов Тугурская тайга, там и тут пробежали тонкие снежные тропки к вершинам крутогорбых хребтов. Ожилились пустыри человеческими голосами да стуком топоров.

## Часть вторая

### I

Затейник апрель входит в свои права. Спорят солнце, снег и вьюга. Подспудно звенят ручьи. Лес наполняется таинственным шорохом пробуждающейся природы.

Я проснулся рано. В лагере спокойно: ни суеты, ни говора людского, даже трубы над палатками не дымятся. Это, кажется, первый день за время нашего путешествия, когда не нужно думать о дороге, о наледях, когда усталым глазам не надо всматриваться вперед в поисках прохода.

К лагерю табуном подошли олени. Они лениво потягиваются, выгибая натруженные ляжками спины. Затем все разом поворачивают головы в сторону убежавшей от лагеря реки.

Что их насторожило?

Нигде никого не видно, но слух улавливает шорох, будто кто-то, раздвигая почерневшие ветки, несмело идет по лесу. Стайка птиц торопливо проносится навстречу этому таинственному гостю. Вот он уже совсем близко, от его невидимого прикосновения вздрогнули сережки на ольховом кусте, зашуршали старые неопавшие листья. Я уже чувствую на лице чье-то теплое, нежное дыхание.

Это весна! Это она взбудоражила оленей и растревожила лес.

Ласковый ветерок перебирает густую ость на полношерстных боках оленей. Он шарит по вершинам старых лиственниц, пробегает по чаще и поспешно улетает дальше, к холодным вершинам заснеженных гор, оставив в воздухе какое-то смятение да бродящий запах весны, принесенной с дальнего юга.

Солнце, выпутавшись из лесной чащи, осветило пробудившийся лагерь. Олени ложатся на снег и, пережевывая корм, чутко прислушиваются к ветру. Бойка на пригреве зализывает раны.

Улукиткан дерет с жимолости волокно для мочалок. Василий Николаевич и Геннадий готовят баню. Кучум воровски высунул из палатки морду с украденным куском сахара в зубах. Он осмотрелся, подошел к костру, похрустел сахаром, облизнулся и озабоченно принялся ловить блох у себя в шубе.

Здесь, в верховье Май, нам придется переждать распутицу. Отсутствие Лебедева в условленном месте расстраивало наши планы. Но прежде чем отправиться на его розыски под голец Сага, необходимо починить одежду и обувь, изрядно потрепанную, помыться, постирать белье. К тому же олени обессилели и нуждаются в длительном отдыхе.

Скоро будет готова баня. У края наносника большим пламенем бушует костер. Рядом с ним в береговом тальнике вырыта яма-ванна. Тут же устроен настил полуметровой высоты в виде топчана, заменяющий парной полоч. Все это размещено на площадке в пять квадратных метров и так, чтобы можно было поставить палатку.

Гаснет пламя костра, разваливаются угли, обнажая под собой кучу крупных камней, сложенных горкой и побелевших от накала. Мы убираем остатки углей, выстилаем яму-ванну водонепроницаемым брезентом и наливаем горячую воду. Затем ставим палатку. Баня готова. Внутри жарко от раскаленных камней.

Купаемся по двое. Заплескалась вода, раздулась от пара палатка. Геннадий от всей души хлещет стланиковым веником по разомлевшему телу Василия Николаевича. Тот вертится вьюном, стонет, кричит. А каменка шипит, захлебываясь паром. Геннадий часто приседает, чтобы охладиться, и с новой силой хлещет Мищенко. У того голос слабеет, стихает, и слышно, как он безмолвно валится в ванну.

- Эко осерчал Геннадий! – говорит Улукиткан, неодобрительно покачивая головой.
- Сейчас наша с тобой очередь, готовься, – сказал я старику.
- Оборони бог! – испугался тот. – Моя свой баня делать буду, а тут не могу, сразу пропаду.

И он опасливо отошел в сторону, не сводя недоумевающих глаз с палатки, окутанной паром.

После бани мы занялись стиркой, а наш Улукиткан, усевшись на снегу, стал мыться. Пододвинув поближе ведро с теплой водой и стараясь не замочить унты, он, не раздеваясь, начал намыливать голову. Старик фыркал от удовольствия, плескался, как утка. Затем он отжал из волос воду и натянул на мокрую голову меховую шапку-ушанку. Немного передохнув, он стащил со своего тщедушного тела рубашку, помыл костлявую грудь и, не вытираясь, надел чистую рубашку, а поверх дошку. Снова передохнул и снял унты вместе со штанами. Высохшие, тощие ноги плохо отпаривались...

– Эко зря кричал Василий, ведь так куда с добром мыться можно, – рассуждал шепотом Улукиткан.

И действительно, даже после такой своеобразной «бани» посвежел старик, посветтели его глаза.

Собрав грязную одежду, Улукиткан запикивает ее в ведро, намыливает, выжимает и, не вставая с места, бьет то рубашкой, то штанами о корявый ствол лиственницы – это и называется у него стиркой...

За почерневшим лесом в глубоком отлив неба чуть виднеются высокие хребты. На лабазном срубе с ледяных свечей сбегает капли влаги. Расползается теплынь по чаще, по снегам.

День кончился. Долину прикрыла тьма. Морозная ночь быстро сковала размякший снег.

Все собрались у меня. В палатке полумрак. В печке изредка вспыхивает пламя, обливая тусклым светом сторбленные фигуры сидящих людей. На их лицах, выхваченных из темноты, покой и скука. В тишине слышно, как губы громко всасывают горячий чай да на зубах похрустывают сухари.

– Эко кислый фрукт! – говорит Улукиткан, обсасывая лимон и морщась, как от ушиба.

– Корку-то не ешь, она горькая, – предупреждает его Мищенко.

– Пошто «не ешь»? Горькая языку, да ему мало заботы, а брюху польза. – И по скуластому лицу старика расплывается улыбка.

– Что будем делать завтра? – спрашиваю я. Все молчат. В углах палатки еще больше сгустился сумрак. Кто-то зажигает свечу.

– Ленивому – сон, быстроногому – охота, а усталому оленю – свежая копанина, – наконец отвечает Улукиткан, разгибая онемевшую спину.

– Чем же ты займешься?

– Сокжой искать надо. Обеднел наш табор, костей не осталось, ножу делать нечего, да и брюху скучно!

– Когда собираешься? – настораживается Мищенко. – Может, вместе пойдем? Вдвоем веселее.

– В пустой тайге и втроем веселья не жди, а на свежем следу зверя и одному хорошо. Утром глухариный ток ходить буду, потом надо искать место, где сокжой стоит, и рыба надо поймать. Хорошо, что у глаз рук нет, – все бы захватил. Тьфу, какой люди жадный!..

– Вот уж не ожидал от тебя, Улукиткан! Знаешь, где ток, и молчишь! Я, можно сказать, для тебя все: и крепкого чаю заварю и мозговую косточку припасу, а ты вон какой!

– Эко зря серчал, Василь! Я думал, по тонкому насту тебе глухаря не скрасть – шумно больно, напрасно пули терять будешь.

– Под песню к любому подберусь, шум тут ни при чем. Говори лучше, где ток, вместе пойдем.

– Моя утром слышал – глухарь шелкал прямо на восход, думаю, там ток. Ты иди сам, моя другой знает охота, твоя так не может, – упрямится старик, хитровато усмехаясь.

Еще посидев немного, он уходит, унося с собой тайну своих замыслов.

А мы с Василием Николаевичем решаем так: на ток пойду я, а он спустится по Мае вниз и осмотрит реку – нет ли где большой полыньи, чтобы поставить сети, обойдет боковые ложки – может, нападет поблизости на след сокжоя или сохатого.

Перед сном готовим ружья, лыжи, котомки, привязываем собак. Я подготовил мелкокалиберку, а Василий Николаевич – винтовку.

Еще задолго до рассвета мы позавтракали и покинули палатку. Я задерживаюсь, чтобы по ходу Василия Николаевича определить, как далеко слышен шорох лыж. Стою долго. Тот давно скрылся, а шум хрупкого наста все еще будит тишину. Это очень плохо. Не отказаться ли от поисков тока? Повернул ухо к востоку, послушал – не шелкает. Очевидно, притаились глухари. «А может, рано?» – думаю я и решаюсь идти дальше.

В лесу темно. Бледные лучи звезд не проникают в чашу. Осторожно пробираюсь меж стволов деревьев. Почти на ощупь обхожу валежник, пни и чутьем угадываю нужное направление.

Вдруг надо мною что-то прошуршало, будто невидимая птица задела крылом вершины деревьев. Я останавливаюсь. Шум, удаляясь, затихает, но из недр старой лиственничной тайги доносится еле уловимый гул – сдержанный, тревожный.

Иду дальше. Неожиданно лес редет, показывается заснеженная поляна, а за нею – пологая возвышенность. До слуха доносятся приглушенные звуки. Настороженно вслушиваюсь. Звук долго не повторяется. Наконец где-то далеко над горою отрывисто шелкнуло, затихло на секунду, другую, да вдруг как польется: «Тра-та-та... Тра-та-та... Тра-та-та...»

Под тяжестью моих лыж шумно крошится наст, разрывая сонную тишину. Быстро пробегаю снежную полосу, взбираюсь на возвышенность.

«Тра-та-та... Тра-та-та... Тра-та-та...» – ясно слышится справа глухариная песня. Она размеренно разрывает тишину, стихает и снова льется по лесу. Где-то впереди на «полу» нежно квохчет самка глухаря – копалуха. Я слышу шорох ее распущенных крыльев, волнующие звуки любовного призыва.

Осторожно крадусь дальше. Кажется, все идет хорошо. Но вдруг надо мною раздается треск, удары тяжелых крыльев о ветки – и черная тень, оторвавшись от лиственницы, скрывается в темноте.

– Фу, черт!.. – вырывается у меня то ли по адресу вспугнутого глухаря, то ли собственной оплошности.

Взбираюсь на гребень и невольно замираю, прислонившись к березе.

Мутно алеет восток. Робкий свет прорезает редколесье. Где-то высоко пролетает ветерок, ласково касаясь вершин деревьев. Пробуждается лес, шепчутся о чем-то между собой ели, а ветерок уже далеко впереди...

Как хорошо дышится в это первое весеннее утро! Каким юным и радостным чувствуешь себя в этот ранний час! Вот так и стоял бы без конца, наслаждаясь пробуждающейся природой...

Вдруг слева внизу тихо прошелкал глухарь, как бы настраивая свой голос, другой ответил ему с гребня, третий как-то сразу азартно запел – и лес наполнился глухариной песней.

Я спешу на ближний звук. Ищу глазами птицу, знаю, что она где-то близко. Вон, кажется, чернеет на лиственнице, шевелится, увеличивается...

«Тра-та-та... Тра-та-та... Тра-та-та...»

Напрягаюсь, готовый к прыжку. Но песня почему-то льется однозвучно, не заканчивается бурным и страстным шипением, когда глухарь на несколько секунд становится слеп и глух, позволяя охотнику сделать два-три прыжка к нему. Наконец догадываюсь, что имею дело с

каменным глухарем, в песне которого нет этого колена. Значит, нужен какой-то иной подход к птице. Не зря предупредил Улукиткан, что к ней под песню не подойдешь. А как же он скрадет?..

Глухарь четко выкроился пышным силуэтом на фоне раскрасневшейся зари и, не смолкая, льет в пространство потоки безудержной песни. На «полу» вкочет копалуха. Она бесшумно перебегает от певца к певцу, как бы не зная, на ком остановить свой выбор, – до того хорошо все поют.

Делаю еще несколько шагов, но предательский наст выдает меня: глухарь внезапно смолкает, сжимается и настороженно повертывает красноватую голову в мою сторону. Я чувствую на себе взгляд пары острых глаз, глушу дыхание, боюсь пошевелиться.

Медленно тянутся минуты. Сквозь верхние кроны деревьев проникает ласковый утренний свет. Где-то далеко-далеко, в глубине леса, рождается ветер и, точно шум прорвавшейся воды, приближается и порывисто несется мимо. Глухарь не выдерживает поединка, вытягивает черно-сизую шею, надувает зоб, веером распускает приподнятый хвост. Вот он отбросил кверху голову, щелкнул раз, другой – и вновь полились навстречу утру живые звуки весенней песни. Глухарь поет долго, величаво, сдержанно царапая сучок острыми концами крыльев.

Когда гордый певец, захлебываясь, зачастил свою трель, я осторожно поднял ствол винтовки. Но глухарь мгновенно смолк, повернулся к заре и, захлопав могучими крыльями, исчез за курчавой вершиной.

Острая горечь неудачи овладевает мною. Присаживаюсь на валежину, чтобы прийти в себя, но на вершинах лиственниц опять вижу токующих глухарей. Встаю и снова крадусь между стволами деревьев к ближнему глухарю.

Гремит под лыжами проклятый наст. Слышу удары крыльев о ветки и торопливый взлет. Неужели придется вернуться в лагерь ни с чем?

Выхожу на гриву. Яркие лучи восхода уже пронизывают лес. Всмотревшись в продолговатую полоску заледенелой мари на дне лога, окруженную редкими стволами низкорослых елей, замечаю какое-то движение – что-то черное и крупное шевелится там, на закрайке мари.

Кажется, медведь! Вот он выходит на лед, осматривается и, потоптавшись на месте, пересекает марь. Но ведет себя при этом косолапый как-то необычно: то подпрыгивает, словно спутанный, то начинает проделывать какие-то забавные движения. Возможно, он только что вылез из берлоги и разминает долго бездействовавшие лапы. У меня мгновенно созревает решение: опередить его правым распадком и на гриве подкараулить.

Расстегиваю телогрейку – так легче дышать, затягиваю потуже пояс и сваливаюсь в ложок. Брызжет из-под моих лыж снег, мимо мелькают лиственницы, приземистые ели, кусты. На ходу достаю левой рукой две запасные обоймы малокалиберных патрончиков. Вижу на «полу» расфуфыренного глухаря, парадно чертящего крыльями жесткий снег. Но сейчас не до него!

Слышу, будто где-то пролаяла собака. Сдвигаю пятки, круто скашиваю лыжи, останавливаюсь. Действительно, за гривой, где видел зверя, лает какая-то собачонка пискливым голосом. Это не Кучум и не Бойка. Откуда же она взялась? Может, Лебедев приехал? Но и у его собаки Берты не такой голос. Бегу на лай. Поднимаюсь на гриву, подкрадываюсь к толстой лиственнице и смотрю вниз. Зверь уже прошел марь, но собачонки возле него не видно, хотя лай слышится ясно. Всматриваюсь в редколесье – поблизости тоже никого нет. «Что за ерунда!» – думаю, а сам не выпускаю из поля зрения зверя. Он, все так же по-смешному подпрыгивая, подвигается ко мне. Между нами на ветке большой лиственницы сидит глухарь. В лесу совсем светло, солнце уже поднялось над тайгой. Где-то далеко забавляются криком куропатки. А собачонка все лает и лает, но обнаружить ее мне никак не удастся. Замечаю что-то странное и в фигуре медведя: морда тупая, сам короткий, а зад приподнят высоко, и масть какая-то светлая. Понять не могу, что за урод. А зверь, тем временем приблизившись к глу-



харю, вдруг поднимается на задние лапы, выпрямляется в полный рост... и до моего слуха долетает звук выстрела. Глухарь, ломая ветки, падает на снег.

Я не могу удержаться от хохота, узнав в поднявшемся «медведе» Улукиткана. Догадываюсь, что это он и собачонкой лаял, чтобы усыпить бдительность глухаря.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.